

Humanitas

Вадим Розин

Семиотические исследования



Humanitas

Вадим Розин

Семиотические исследования

«Когито-Центр»

2001

УДК 1/14
ББК 87

Розин В. М.

Семиотические исследования / В. М. Розин — «Когито-Центр»,
2001 — (Humanitas)

Известный российский философ и методолог, отталкиваясь от семиотических исследований своего учителя Г. П. Щедровицкого, излагает собственные результаты многолетней работы в этой области. В отличие от других семиотиков в семиотическую теорию В. Розин включает не только учение о знаках и их типах, но оригинальные концепции схем как семиотических образований, психических реальностей, семиотических организмов (познания и искусства). На основе семиотического подхода автору удается объяснить феномен человека, некоторые особенности искусства и научного творчества, наконец, эзотерический опыт и представления.

УДК 1/14
ББК 87

© Розин В. М., 2001
© Когито-Центр, 2001

Содержание

Введение	6
Глава 1	13
§ 1. Семиотический подход и его варианты	15
§ 2. Семиотика как наука	20
Глава 2	25
§ 1. Реконструкция контекста ранних семиотических исследований	26
§ 2. Семиотический анализ элементов древней «математики»	31
Знаки-модели	32
Знаки-символы	33
Знаки-обозначения	35
§ 3. Семиотическое «производство» Древнего мира	36
§ 4. Семиотический анализ происхождения наскальной живописи	43
Знаки выделения	43
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Вадим Розин

Семиотические исследования

Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам, Института всеобщей истории, Института мировой литературы им. М. Горького, Института философии Российской академии наук, МГУ им. М. В. Ломоносова

© С. Я. Левит, составление серии, 2001

© В. Розин, 2001

© «ПЕР СЭ», 2001

© Университетская книга, 2001

Введение

Постановка проблемы

Становление семиотики в нашей стране происходило во второй половине 60-х – первой половине 70-х годов. Именно в этот период стали выходить тартуские «Труды по знаковым системам» (75), появилось много интересных статей, посвященных проблемам семиотики, в выпусках «Новое в лингвистике», «Вопросах философии» и других научных изданиях того времени. При этом семиотические исследования велись как бы на два фронта: наряду с эмпирическими и теоретическими исследованиями различных типов знаков и знаковых систем (например, в естественных языках, математике, отдельных областях деятельности – реклама, дорожные знаки, игральные карты и т. п.) достаточно большое внимание уделялось рефлексии, в частности обсуждению предмета семиотики и особенностям семиотического подхода и метода. Для примера здесь можно вспомнить статьи И. И. Ревзина в «Вопросах философии» – «От структурной лингвистики к семиотике», Г. П. Щедровицкого и В. Н. Садовского «К характеристике основных направлений исследования знака в логике, психологии и языкознании», а также программную статью Г. П. Щедровицкого «О методе семиотического исследования знаковых систем», к которой мы будем неоднократно обращаться (см.: 59; 94; 95). Именно эти и подобные им работы заложили необходимую методологическую основу для семиотических исследований, проведение которых позволило в течение примерно двух десятилетий создать вполне современный и конкурентоспособный вариант российской семиотики. Я говорю о российском варианте не случайно: на мой взгляд, гуманитарные дисциплины (а семиотика в главном своем направлении является именно гуманитарной дисциплиной), ассимилируя все достижения западной мысли, тем не менее развиваются на своей родной интеллектуальной почве; в их облике и, главное, методологии и стиле мышления чувствуются именно российские проблемы и менталитет. Но, конечно, с этим утверждением можно не соглашаться, считая, что нет никакого варианта российской семиотики, а существует просто семиотика.

В настоящее время мы переживаем новый интерес к семиотике. Буквально за последние несколько лет вышли интересные книги, посвященные семиотической проблематике, из которых можно назвать хотя бы увлекательное исследование Умберто Эко «Отсутствующая структура: Введение в семиологию» (1998), «История русской семиотики» Г. Поченцова (1998), «Избранные труды, т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры» нашего классика Б. А. Успенского (1994), цикл работ по семиотике русской и не только русской культуры Ю. М. Лотмана («Культура и взрыв». М., 1992; «Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.)». СПб., 1994). Этот интерес не случаен. Здесь налицо и попытка осмыслить «семиотический уклон» постмодернизма, и объективная необходимость разобраться в роли языка и знаковых систем, значение которых заметно возросло в настоящее время. Концепции «языковых (семиотических) игр» или «культуры как коммуникационного процесса» («Культура, – пишет У. Эко, – есть по преимуществу *коммуникация*» (100, с. 203)) представляют не только кредо постмодернистов, но отражают реальные факты современности.

Сегодня, поскольку накоплен большой объем семиотических исследований и возникла если не историческая, то, во всяком случае, временная перспектива (дистанция), стало возможным по-новому взглянуть на предмет семиотики, еще раз заново, в соответствии с требованиями современности обсудить методологические проблемы этой дисциплины. В качестве исходной проблемы, с которой я хотел бы начать анализ, может быть взята дилемма, сформулированная еще в середине 60-х годов Г. П. Щедровицким: будет ли семиотика развиваться только как приложение и продолжение других теоретических дисциплин – логики, психологии, языкознания, культурологии и пр. – или же она, наконец, станет самостоятельной нау-

кой. «Какой бы подход, – пишет Г. Щедровицкий, – мы сейчас ни взяли – логический, лингвистический или психологический – в каждом семиотика мыслится как простое расширение предмета соответствующей науки, как приложение ее понятий и методов к новой области объектов. Фактически нигде не идет речь о специфических методах семиотики, об особых – и они должны быть новыми – процедурах выделения и описания ее предмета... Поэтому можно сформулировать более общий тезис: основная задача семиотики как теории знаковых систем, если она хочет быть особой наукой, а не другим названием расширенной лингвистики, расширенной логики или психологии, состоит в объединении тех представлений о знаках и знаковых системах, которые выработаны к настоящему времени в психологии, логике, языкознании и других дисциплинах; семиотика будет иметь право на существование в качестве самостоятельной науки, если будет решать эту, ставшую уже насущной, задачу» (95, с.21, 22).

О какой науке говорит Г. Щедровицкий и почему семиотика как самостоятельная наука должна возникнуть из синтеза отдельных дисциплинарных семиотических представлений? Судя по всему, о *естественной науке*, пользующейся *объективным методом*, в свете которого другие теоретические построения семиотики являются или *ложными* или *не совсем адекватными*. Действительно, возражая против «социально-психологического» подхода в семиотике, ставящего природу знака в зависимость от понимания и других психических процессов в организме человека, Г. Щедровицкий противопоставляет этому подходу «совершенно точный и объективный анализ» знаков в социуме. Кредо социально-психологического («ситуативного») подхода, пишет Г. Щедровицкий, «в резкой форме может быть сформулировано так: знаки существуют потому, что отдельные люди, индивиды сознательно используют какие-то объекты в качестве знаков; знаки не существуют объективно в социально-производственных структурах и в «культуре» социума именно как знаки; они не имеют объективных функций и значений безотносительно к психике индивидов, их пониманиям и желаниям... В исследовании знаков этот подход постоянно приводит к одному и тому же тупику. Когда заходит речь о реконструкции функций, значений, содержаний знаков и становится необходимым обращение к так называемым внеязыковым условиям и факторам, исследователям приходится апеллировать к процессам понимания, осуществляемым индивидами, к их желаниям, целям, одним словом, к сознанию и его многообразному содержанию; последнее оказывается зависимым от прошлого опыта индивидов, от их психических установок и т. п., т. е. от факторов, пока совершенно не поддающихся точному научному учету. Именно поэтому все ходы в этом направлении и заводили в тупик. Возможен, однако, совершенно точный и объективный анализ содержания и значений языковых выражений, не связанный с описанием психических процессов и сознания индивидов» (95, с.27–28).

Этот «точный и объективный анализ», – конечно, же естественнонаучный анализ, и здесь Г. Щедровицкий вполне последователен, поскольку именно естественные науки он считал образцом и идеалом. «Щедровицкую программу» построения семиотики интересно сравнить с программой построения психологии, выдвинутой Л. С. Выготским в конце 20-х годов. В тот период в психологии вопрос тоже стоял ребром (во всяком случае, так формулирует ситуацию Выготский): или много психологий на разные вкусы, или одна естественнонаучная, «общая», но зато правильная психология. «Психотехника, – пишет Выготский, – поэтому не может колебаться в выборе той психологии, которая ей нужна (даже если ее разрабатывают последовательные идеалисты), она имеет дело исключительно с каузальной психологией, объективной; некаузальная психология не играет никакой роли для психотехники... Мы исходили из того, что единственная психология, в которой нуждается психотехника, должна быть описательно-объяснительной наукой. Мы можем теперь прибавить, что эта психология, кроме того, есть наука эмпирическая, сравнительная, наука, пользующаяся данными физиологии, и, наконец, экспериментальная наука» (20, с.390).

Задачу синтеза отдельных психологических теорий, школ и направлений (фрейдизм, бихевиоризм, рефлексология, гештальттерапия и т. д.) Выготский решает в том же естественнoнаучном ключе. Он предлагает объединить эти частные психологические теории под флагом «общей психологии», которая будет выступать в роли своеобразной «философии психологии» (20, с.310). При этом Выготский полемизирует с Бинсвангером, который предлагал объединить (синтезировать) частные психологические теории на методологической основе. «Общая психология, – пишет Выготский, – следовательно, определяется Бинсвангером как критическое осмысление основных понятий психологии, кратко – как «критика психологии». Она есть ветвь общей методологии... Это рассуждение, сделанное на основе формально-логических предпосылок, верно только наполовину. Верно, что общая наука есть учение о последних основах, общих принципах и проблемах данной области знания и что, следовательно, ее предмет, способ исследования, критерии, задачи иные, чем у специальных дисциплин. Но неверно, будто она есть только часть логики, только логическая дисциплина, что общая биология – уже не биологическая дисциплина, а логическая, что общая психология перестает быть психологией... даже самому отвлеченному, последнему понятию соответствует какая-то черта действительности» (20, с. 310, 312). И понятно, почему Л. С. Выготский возражает Бинсвангеру: с точки зрения естественнoнаучного идеала синтез отдельных научных теорий осуществляет не методология, а «основания науки», т. е. дисциплина предметная, естественнoнаучная, однако более общего (точнее, самого общего) порядка. Вероятно, именно этот вариант синтеза психологических знаний и предметов реализовал А. Н. Леонтьев, построив психологическую науку на основе представлений о деятельности. Деятельность в концепции Леонтьева – это и есть как раз та самая идея и объяснительный принцип, которым все еще соответствует «психологическая черта действительности».

По сути Г. Щедровицкий, кстати, высоко ценивший идеи Выготского и, по его собственному признанию, заимствовавший у последнего идею знака, пытается создать «общую семиотику», объединив и переработав на естественнoнаучной основе главные семиотические идеи, сформулированные в разных направлениях семиотики. При этом подобное объединение, считает Г. Щедровицкий, тоже должно происходить с опорой на истинную семиотическую идею (именно ей, вероятно, соответствует «самая обобщенная семиотическая черта действительности»), которая и позволит создать семиотическую теорию, снимающую все остальные, правда, не в смысле знания, а в смысле описания разных сторон изучаемого объекта. Во всех существующих направлениях семиотики, пишет Г. Щедровицкий, «не было схвачено какое-то *объективное* свойство знаков, которое по сути дела является *самым главным*; оно объединяет другие уже выделенные стороны и задает их место в системе целого. Поэтому, чтобы построить новую модель знака, нужно прежде всего выяснить это свойство». А чуть выше он поясняет: «Объединение логических, лингвистических и психологических представлений о знаке и знаковых системах не может основываться на сведении одних представлений к другим, так как среди них нет главного; оно не может быть также механическим соединением их, ибо перечисленные представления являются не частями одного целого, а различными «проекциями» объекта, снятыми как бы под различными углами зрения. Чтобы осуществить синтез подобных проекций, надо построить совершенно новую модель знака и знаковых систем, которая выступила бы по отношению ко всем предшествующим представлениям как сам объект, с которого они «сняты» как проекции... отнесение всех существующих представлений к одной модели будет выступать как способ опосредствованного связывания их друг с другом. То, что раньше было просто набором разных изолированных представлений, теперь выступит как сложная иерархическая система» (95, с.22–23). Относительно связи общей психологии с отдельными психологическими направлениями Выготский пишет следующее: единство отдельных психологических предметов и дисциплин в общей психологии «достигается путем подчинения, господства, путем отказа отдельных дисциплин от суверенитета в пользу одной общей науки.

Внутри нового целого образуется не сосуществование отдельных дисциплин, но их иерархическая система, имеющая главный и вторичные центры, как Солнечная система. Итак, это единство определяет роль, смысл, значение каждой отдельной области, т. е. определяет не только содержание, но и способ объяснения, главнейшее обобщение, которое в развитии науки станет со временем объяснительным принципом» (20, с.300). Не правда ли, похоже?

Постановку проблемы Г. Щедровицким интересно сравнить с тем, как обсуждает Умберто Эко проблему определения семиотики. Дело в том, что идею семиотики, как известно, высказал Ф. де Соссюр, но новую дисциплину он предлагал называть не семиотикой, а семиологией. Можно вообразить, писал он, *«науку, изучающую функционирование знаков в общественной жизни... назовем ее семиологией (от греческого σημειόν – знак)*. Эта наука могла бы рассказать нам, что такое знаки и какие законы ими управляют... Лингвистика только часть этой общей науки, законы открытые семиологией, будут приложимы к лингвистике, и таким образом лингвистика обретет свое вполне определенное место в ряду человеческих деяний». Но Барт, говорит Эко, «перевернул соссюровское определение, трактуя семиологию как некую транслингвистику, которая изучает знаковые системы как сводимые к законам языка. В связи с этим считается, что тот, кто стремится изучать знаковые системы независимо от лингвистики (как мы в этой книге), должен называться семиотиком» (100, с. 385, 386). Эко предлагает вернуться к первоначальному смыслу термина Ф. де Соссюра. «Мы, – пишет он, – будем именовать *«семиологией» общую теорию исследования феноменов коммуникации, рассматриваемых как построение сообщений на основе конвенциональных кодов, или знаковых систем; и мы будем именовать «семиотиками» отдельные системы знаков в той мере, в которой они отдельны и, стало быть, формализованны (выделены в качестве таковых или поддаются формализации, внезапно появляясь там, где о кодах и не помышляли)*» (100, с.386).

Однако что имеет в виду Эко, говоря о коммуникации? С одной стороны, коммуникация в трактовке Эко – это схема, на основе которой осмысляется именно семиотически понятый язык. Об этом свидетельствует исходное определение «коммуникативной модели», которая задает известную структуру, содержащую такие основные элементы, как «отправитель», «адресат», «сообщение», «код» (100, с. 35–77). С другой – коммуникация как-то связана с практиками и культурой. Заканчивая свою книгу, Эко пишет следующее: «Коммуникация охватывает всю сферу практической деятельности в том смысле, что сама практика – это глобальная коммуникация, утверждающая культуру и, стало быть, общественные отношения» (100, с.416). Означает ли сказанное, что практика – это исключительно коммуникация? Если да, то с этим трудно согласиться. Если нет, то не получается ли опять, что коммуникация – это именно языковой аспект действительности? Тогда вариант семиотики Эко представляет собой лишь экспансию существующих предметов, в данном случае лингвистики, искусствознания и теории массовой коммуникации на новые предметные области.

Следующая проблема касается критериев строгости семиотических понятий. Многие авторы отмечают разночтения и несовпадения основных понятий семиотики (знака, значения, смысла, символа и др.), что особенно становится очевидным при сравнении разных направлений семиотики. «Следует заметить, – пишет Е. Черневич, – что терминологический разнобой, существующий в семиотической литературе, в значительной степени затрудняет ее изучение. Часто одни и те же или близкие по смыслу понятия обозначаются различно, Например, синонимично употребляются такие последовательности слов:

- выражение, знак, обозначающее, означающее, имя;
- обозначаемое, денотат, предмет, объект, вещь;
- означаемое, десигнат, сигнификат, концепт, или понятие денотата, смысл имени, или знака, значение знака;
- отношение обозначения, денотации, именования, номинации;
- отношение означения, выражения, десигнации, сигнификации.

Столь большое различие в словоупотреблении отражает тот факт, что термины в свое время вводили в оборот логики и лингвисты при исследовании совершенно различных научных проблем» (91, с.35).

Еще один пример – отношение к традиционному пониманию знака, которое представлено в монографии В. Канке. «Существует, – пишет он, – целый ворох так называемых «простых» определений знака. Все они строятся по схеме средневековых схоластов, гласящей «Alquid stat pro aliquo»: Нечто стоит вместо другого.

замещает

представляет

Если **А** несет информацию о **В**, то **А** – знак **В**, а **В** есть значение

указывает на

репрезентирует

знака **А**... Несмотря на то что стандартное определение знака не является ошибочным, оно тем не менее обладает несомненными слабостями. Дело в том, что оно никак не учитывает роль актанта, человека интерпретирующего и действующего. Кроме значения знак еще имеет смысл, а он вырабатывается интерпретатором» (32, с.10).

Не могу удержаться и не отметить, что и Выготский начинает критический анализ психологии как раз с проблемы разнобоя в трактовке ее понятий. Так, он полностью соглашается с тезисом Н. Н. Ланге: «Отсутствие общепризнанной системы науки. Каждое изложение психологии у виднейших авторов построено по совершенно иной системе. Все основные понятия и категории толкуются по-разному. Кризис касается самых основ науки» (20, с.373).

Но споры идут и по поводу отдельных фундаментальных понятий семиотики, например, понимания термина «иконический знак». Классификацию знаков на «знаки-иконы», «знаки-индексы», «знаки-символы», как известно, ввел Ч. Пирс, исходя из трактовки отношений между знаками и замещаемыми ими объектами. «Отображение (Darstellung), – по Пирсу, – есть либо похожость, указатель, либо символ» (32, с.14). Иконический знак Пирс определяет как знак, сходный с объектом, к которому он относится. Ч. Моррис, уделивший изучению иконических знаков много внимания, выражается более осторожно: это знак, который несет в себе некоторые свойства представляемого предмета, или, точнее, «обладает свойствами собственных денотатов». «Не будем забывать о том, – писал Моррис, – что иконический знак только в некоторых своих аспектах подобен тому, что он означает. И стало быть, иконичность – вопрос степени» (100, с. 124, 125). Интерес к изучению иконических знаков понятен: к ним относятся изображения и многие фигуративные произведения искусства. Однако определения и разъяснения Пирса и Морриса не устраивают многих семиотиков.

Например, В. А. Канке пишет следующее. «С одной стороны, икона вроде бы существует сама по себе и не соотносится со своим референтом. С другой стороны, она похожа на него, следовательно, между ними есть соответствие. Но если икона существует сама по себе, она не является знаком... Опять же очевидно, что если выявлена похожость двух объектов, то здесь не обошлось без интерпретации и, следовательно, символизации. Наконец, во многих случаях иконы являются результатами наличия связи между объектами. Сравните со сказанным путь получения фотографии... понятие о знаках-иконах не выдерживает критического рассмотрения. Иконы не являются самостоятельным (наряду с индексами и символами) классом знаков. То, что обычно называется иконой, в одном случае фактически является индексом, в другом случае – символом» (32, с.15). И для Эко понятие иконического знака является проблемой и вызовом для семиологии. Главный вопрос семиологии визуальных коммуникаций, пишет Эко, «заключается в том, чтобы уразуметь, как получается так, что не имеющий ни одного общего материального элемента с вещами графический и фотографический знак может быть сходным с вещами, оказаться похожим на вещи» (100, с.127). Впрочем, нужно заметить, что подобный же вопрос можно задать относительно любых типов знаков: каким образом, например, про-

извольная линия, фото или слово могут отсылать нас к вещам и состояниям, не имеющим с последними ничего общего? И не более ли осмысленно действуют совсем маленькие дети или аборигены, когда они отказываются видеть (реально не видят) в рисунке и фото изображаемый предмет? Конечно, Эко разрешает поставленную им самим проблему, но становится ли от этого понятнее, что такое иконический знак? «Итак, – пишет он, – иконический знак представляет собой модель отношений между графическими феноменами, изоморфную той модели перцептивных отношений, которую мы выстраиваем, когда узнаем или припоминаем какой-то объект. Если иконический знак и обладает общими с чем-то свойствами, то не с объектом, а со структурой его восприятия» (100, с.135). Это определение вызывает массу вопросов, например, стало ли нам понятнее от замены «сходства» на «изоморфизм», почему семиотические понятия Эко заменяет математическими и психологическими (остаемся ли мы в этом случае в семиотике?), не впадаем ли мы тогда в психологизм и субъективизм (мало ли какое восприятие у того или иного человека) и пр.?

Еще одна проблема – проведение демаркации между семиотикой и «символистикой», четкое различие знака и символа. Если одни исследователи вслед за Э. Кассирером, автором учения о «символических формах», рассматривают семиотику фактически как раздел символистики, то другие, напротив, включают последнюю в семиотику. Характерна в связи с этим оценка В. Канке, данная Кассиреру. «Во избежание возможных недоразумений, – пишет Канке, – отметим, что характеристика Кассирера в качестве семиотика страдает известной двусмысленностью. Кассирер прежде всего символист и уже постольку также и семиотик, ибо всякий символист (в силу того, что символ – категория семиотики) – семиотик» (32, с.35).

Проблема здесь, собственно, в том, что, с одной стороны, действительно символ – это один из видов знака, но с другой – редуцировать символы к семиотическим категориям не удастся. Например, символ креста имеет столь широкую область смыслового содержания, что сведение его к простому знаку явно будет операцией, элиминирующей и обедняющей значительную часть этого содержания.

Весьма серьезной является проблема оснований семиотики. Понятно, что в каждом направлении семиотики в качестве одного из оснований выступают соответствующие родственные дисциплины – логика, языкознание, психология, культурология и т. п. В качестве другого основания, как правило, выступают отрефлексированные построения, связывающие семиотику с более общими дисциплинами. Например, рефлексирова основания своего варианта семиотики, Г. Щедровицкий вышел на «теорию деятельности», согласно которой природа деятельности объясняет происхождение, функционирование и развитие знаков. В процедуру обоснования семиотики Г. Щедровицкий вводит понятие знака как «средства связи», восполняющего разрыв «производственных единиц» социума, причем все элементы этого построения истолковываются как деятельность. «Нетрудно заметить, – пишет Г. Щедровицкий, – что при том задании и истолковании моделей, какое у нас было, всякий разрыв в структуре введенных единиц является разрывом в деятельности. Начиная с первой модели производственной единицы деятельность была у нас тем, что связывало все элементы (включая и людей) в единое целое и задавало все отношения и связи между ними. Во второй модели появились специальные средства связи (прежде всего знаки. – В. Р.), и поэтому может показаться, что теперь именно они объединяют части производственной деятельности в одно целое. Но такое представление будет неправильным. Появление специальных средств связи происходит одновременно с появлением новых видов деятельности, направленных на них, и именно эта новая деятельность является той «конечной» силой, которая связывает все элементы, старые и новые, в единую структуру... Последовательно задавая различные виды разрывов в структурах моделей, мы будем получать различные виды связей и средств связи, восстанавливающих целостность исходной структуры. Все элементы моделей, введенные таким образом, мы будем называть *семиотическими*» (95, с.35–36).

Обосновав семиотический подход, Г. Щедровицкий, как дальше показала история «Московского методологического кружка» (кратко – ММК), перестал заниматься семиотическими исследованиями; он полностью переключился на построение теории деятельности. Этот случай типичен. Обоснование семиотики нередко выливается в создание других, более общих дисциплин, в рамках которых интерес к самой семиотике, как правило, падает. Помимо этой проблемы возникает вопрос о возможности общих оснований для всех направлений семиотики (по мнению Г. Щедровицкого теория деятельности и является таким основанием; но вряд ли с этим согласились бы другие представители семиотики).

Другой способ решения проблемы оснований семиотики предлагает Эко. Его решение можно назвать диалектическим. С одной стороны, Эко признает, что анализировать знаковые системы можно только на основе выделения «универсалий коммуникации», например, «константных механизмов мышления» или «культуры как коммуникации». С другой – он считает, что существует «поступательное движение семиозиса», определяемое изменяющимися обстоятельствами и идеологией, и оно непрерывно перестраивает знаковые системы. Но это поступательное движение семиозиса сочетается с неизменностью ментальных структур. «На этом утопическом представлении о *неизменности человеческого ума*, – пишет Эко, – держатся семиотические представления о *постоянстве коммуникации*. Но эти общие исследовательские установки не должны отвлекать внимание от еще одной сопутствующей задачи: постоянно следить за изменением форм коммуникации, перестройкой кодов, рождением идеологий... Действительно, две темы являются сквозными для всей нашей книги:

а) с одной стороны, призыв к описанию отдельных семиотик как закрытых, строго структурированных систем, рассматриваемых в синхронном срезе;

б) с другой стороны, предложение коммуникативной модели «открытого» процесса, в котором сообщение меняется по мере того, как меняются коды, а использование тех или иных кодов диктуется идеологией и обстоятельствами, при этом вся знаковая система непрерывно перестраивается как *поступательное движение семиозиса*» (100, с.114, 411).

Здесь мы видим скорее методологическое, чем онтологическое решение проблемы оснований семиотики. Эко не отвечает на вопрос, что существует «на самом деле» (как, скажем, Г. Щедровицкий – *деятельность*). Он говорит: у меня такой метод анализа знаковых систем: сначала я постулирую их как замкнутые (в синхронном срезе), а затем размыкаю, помещая в контекст новых идеологий и меняющихся обстоятельств (т. е. рассматриваю диахронически). Как первое связано со вторым, Эко, подобно Ф. де Соссюру, на теоретическом уровне не отвечает. В этом смысле он и не отвечает на вопрос о том, что же существует на самом деле. В этом же смысле предельное понятие его семиотического анализа – *культура как коммуникация* – тоже скорее метод, чем объект (реальность).

Глава 1

Семиотический подход и наука

Каким же образом сегодня можно оценить программу Г. П. Щедровицкого, в реализации которой в 60-е годы участвовал и я. Эта оценка, вероятно, включает в себя обсуждение сущности семиотического подхода, в частности, задач, которые он призван решать. Большинство авторов, пишущих о семиотике, думают, что эти задачи очевидны и что сам материал показывает их характер. Например, в работе В. А. Канке «Семиотическая философия» мы читаем: «Итак, получен определенный список категорий философии как семиотики... что позволяет любую из традиционных философских категорий переформулировать и представить в семиотическом виде... есть все основания заявить, что семиотической философии нет альтернативы» (32, с.25, 39). Но спрашивается, зачем традиционные философские категории редуцировать к семиотическим? Безусловно, семиотический анализ много дает, но почему без него нельзя обойтись и в каких случаях? Очевидно, что не во всех, но точно понять, когда именно необходимы семиотические исследования, трудно, не прояснив суть семиотического подхода. В противном случае семиотический подход – по крайней мере, в осознании – нагружается несвойственными ему широкими методологическими функциями, как, например, мы это видим в содержательной во всех других отношениях работе Е. В. Черневич. «Семиотическая точка зрения на графический дизайн, – пишет она, – позволяет свести воедино многие теоретические и методические проблемы исследования и проектирования систем визуальной коммуникации» (91, с.30).

Попробуем определить отношение к программе Г. Щедровицкого. Если последний разрабатывал методологию исходя из естественнонаучного идеала, то я сторонник *гуманитарного подхода*, допускающего, кстати, в качестве своего предельного отношения и естественнонаучный подход. (М. Бахтин считал, что это предельное отношение задается, когда мы человека рассматриваем не как личность, а как специалиста; думаю, в более общем смысле – это позиция «использующего природного отношения».) С точки зрения гуманитарного подхода каждое направление семиотики имеет право на существование, поскольку, отражает, во-первых, определенную ценностную позицию исследователя, во-вторых, – определенную позицию (возможность) в культурном пространстве. Зайти, как выражается Г. Щедровицкий, в тупик основные направления семиотики не могут. Другое дело, что не всегда можно согласиться с какими-то рефлексивными суждениями по поводу семиотики, высказываемыми авторами тех или иных направлений. Но полемика и есть полемика. Это дело нормальное.

Гуманитарная установка может быть дополнена методологическим требованием – так осмыслить семиотику, чтобы отдельные ее направления получали свое значимое место. Кроме того, необходимо понимание и признание за каждым исследователем своей точки зрения (своего варианта семиотики) как одной из возможных наряду с другими. Конечно, каждый исследователь (и я в том числе) отстаивает свою позицию и видение как истину, но в качестве методолога я обязан помнить, что истина является не только мне (и мне она как раз в силу излишней пристрастности или каких-то других обстоятельств может быть и не дана), но и остальным исследователям. Тем не менее, поскольку я сам участвую в разработке семиотики, занимаясь этим делом уже много лет, и так как я признаю другие направления семиотики, то, полагаю, для нормальной научной коммуникации должен заявить свой подход и даже, если можно, указать его границы.

В связи со сказанным невозможно согласиться, что основной задачей семиотики является ее построение как самостоятельной естественной науки и что решается эта задача на основе синтеза (пусть даже при этом предполагается построение новой модели) основных пред-

ставлений о знаках и знаковых системах. Щедровицкий прав, утверждая, что для построения новой модели знака нужно предварительно «рассмотреть, каким образом изучались знаки и знаковые системы до сих пор, каковы основные пробелы и недостатки в существующих подходах» (95, с.23). И он это делает, но весьма характерно – с позиций именно своего варианта семиотики. Не случайно, фиксируя «основные недостатки существующих подходов к изучению языка как знаковой системы», Г. Щедровицкий строит свою аргументацию по типу «утверждается нечто, но не то, что есть на самом деле» (как уже было отмечено, К. Бюлер, А. Гардинер, Ч. Моррис и многие другие семиотики утверждают, что «знаки существуют потому, что отдельные люди, индивиды, сознательно используют какие-то объекты в качестве знаков; знаки не существуют объективно в социально-производственных структурах и в «культуре» социума именно как знаки; они не имеют объективных функций и значений безотносительно к психике индивидов, их пониманиям и желаниям» (95, с.27)). С таким рассмотрением семиотического подхода согласиться невозможно. История семиотики должна быть осмыслена не с точки зрения частной семиотической позиции, которую, скажем, я считаю истинной, а именно с методологической и генетической точек зрения.

§ 1. Семиотический подход и его варианты

Верно, что семиотика возникает в рамках отдельных, уже сложившихся теоретических дисциплин – логики, психологии, языкознания, культурологии. Однако почему, что не устраивало их представителей? Для прояснения этого вопроса обратимся к одному высказыванию нашего известного семиотика Б. А. Успенского. Он пишет, что целесообразно различать семиотику знака, которую бы он отнес к логическому направлению в семиотике, и семиотику языка, соответственно, ее можно отнести к лингвистическому направлению. В первом случае внимание исследователя «сосредоточивается на изолированном знаке, т. е. на отношении знака к значению, к другим знакам, к адресату», «во втором же случае исследователь сосредоточивает свое внимание не на отдельном знаке, но на языке как механизме передачи информации, пользующемся определенным набором элементарных знаков. Иначе говоря, в первом случае знак рассматривается в принципе безотносительно к акту коммуникации, во втором же случае знаковость, семиотичность определяется именно участием в коммуникационном процессе, т. е. предстает как производное от этого процесса. (Именно коммуникационный процесс, например, лежит в основе понятия фонемы: фонемы сами по себе не являются знаками – они не обладают самостоятельным значением, – но мы говорим о двух разных фонемах в том случае, если их смешение нарушает акт коммуникации.)» (81, с.30–31).

Чтобы лучше понять смысловое различие, на которые указывает Успенский, а именно, связанное с тем, что «семиотичность определяется участием в коммуникационном процессе», вспомним, что в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра сформулирован тезис о том, что «язык есть система, подчиняющаяся своему собственному порядку» и эта установка вдохновляла несколько поколений исследователей. Но если лингвистика рассматривает язык «в самом себе» как замкнутую систему, то он не может быть интерпретирован как «механизм передачи информации с помощью знаков». Недаром, выступая на IX Международном конгрессе лингвистов, Р. Якобсон старался расширить трактовку понятия лингвистики с тем, чтобы включить в нее и семиотику. «Конечно, – пишет он, – наша наука рассматривает язык «в самом себе», но не только «для самого себя», а для тех, кто создает его и пользуется им, потому что язык есть орудие, а не «автархическая независимость орудия» – это противоречие в терминах» (47, с.579, 580, 582, 586–587). Не менее характерен комментарий к этому высказыванию Г. Щедровицкого. «Хотя, – пишет он, – Р. Якобсон по-прежнему говорит, что лингвистика рассматривает язык «в самом себе», но звучит это уже совсем не так, как раньше. И может быть, осталось не так уж много времени до того момента, когда получит широкое признание тезис, что язык, рассматриваемый вне мышления, культуры, деятельности, есть просто ничто» (95, с.26).

Вдумаемся в данную ситуацию. Если случится то, чего ожидает Г. Щедровицкий, то придется расстаться с лингвистикой, подобно тому как, начав с построения содержательно-генетической логики, Г. Щедровицкий оставил ее ради теории деятельности. Но в то же время, при решении многих задач нельзя рассматривать язык (соответственно, мышление, психику и т. п.) вне коммуникации, деятельности, практики. Б. Успенский для выделения семиотического подхода в языкознании указывает на процесс коммуникации, но ничего не говорит о том, какое обстоятельство, какой поворот мысли специфицируют семиотический подход в логике. Восполним за него этот пробел и обратимся для этого к творчеству Пирса.

Чарльз Сандерс Пирс начинает на первый взгляд почти с аристотелевской трактовки мышления: «Мышление есть нить мелодии, протянутая через последовательность наших ощущений» (50, с.123). Но далее, критикуя Декарта и Канта, утверждавших, что априорное знание является очевидным и ясным, он выходит на представления, в определенном отношении более близкие к методологическим. В частности, Пирс старается показать, что ясность и истинность знания достигаются не отдельным человеком, а сообществом ученых, создающих понятия для

применения их на практике. «Рассмотрите, какого рода следствия, могущие иметь практическое значение, имеет, как мы считаем, объект нашего понятия. Тогда наше понятие об этих следствиях и есть полное понятие об объекте» (50, с.125). В другой работе, «Закрепление верования» Пирс развивает идеи, которые можно считать теоретико-деятельностными. «Прагматизм, – пишет он, – полагает, что мышление состоит в живом, логически последовательном превращении смыслов, содержание которых – условные общие решения, – в действие» (51, с.132).

Реализуя в логике прагматический подход, Пирс вынужден обсуждать функциональный прагматический «довесок» истины. Вероятно, именно теоретическое осмысление этого дописка заставило Пирса развести понятия знания и знака и развить одно из первых семиотических учений. Действительно, например, указанная выше пирсовская типология знаков – «знаки-иконы», «знаки-индексы», «знаки-символы» – позволяет развести три основных случая существования истины в практике. В первом случае, прямо по Аристотелю, знание описывает (характеризует) свой объект, во втором – связь знания с объектом обусловлена их физической природой (как в случае флюгера и ветра), в третьем случае связь знания с объектом опосредована различными мыслительными или культурными обстоятельствами. Все эти три контекста Пирс, очевидно, пытается подвести под понятие практики. Интересно, что представители ММК проделали аналогичный путь: начав с прагматически ориентированной содержательно-генетической логики, они затем вышли к семиотике.

Итак, моя гипотеза состоит в следующем. Для решения целого ряда задач, поставленных в конце XIX и в XX столетии (прежде всего, это задачи *объяснения развития, различения разных контекстов и случаев употребления*), пришлось традиционные объекты изучения (мышление, язык, психику и т. д.) *включать в определенные контексты, подчинять образованиям другой природы*. Например, мышление (употребление знаний) рассматривать в контексте практического использования, язык – в процессах коммуникации, психику – в контексте обучения и развития человека. В этой ситуации семиотический подход возникает как естественный ход, позволяющий соединить традиционные предметы и объекты изучения с данными контекстами и образованиями, т. е. практикой, деятельностью, коммуникацией, обучением, развитием. Кстати, некоторые из подходов, сложившихся на этой основе, претендуют на то, чтобы включить в себя все остальные. Например, деятельность в широком своем значении включает в себя разного рода практики, коммуникацию, обучение и наделяется таким фундаментальным свойством, как развитие (см.: 98). Понятие практики у Пирса включает в себя деятельность, коммуникацию, обучение.

Таким образом, семиотический подход и возникшая на его основе семиотика являются *посредниками* или *медиаторами* между традиционными теоретическими дисциплинами и новыми подходами – прагматическим, деятельностным, коммуникационным (герменевтическим). С одной стороны, семиотический подход призван удержать ряд особенностей традиционных дисциплин, прежде всего *знаниевый, языковой, эпистемологический* планы, с другой – соединить эти планы с **употреблением** (знаний, языковых выражений), **деятельностью, коммуникацией**. Данную гипотезу можно подкрепить и фактами генезиса.

Хотя рассмотрение понятия знака начинается в рамках греческой культуры, его настоящее философское обсуждение (Августин, Боэций и др.) относится к Средним векам. И вот почему здесь возникает необходимость вводить понятие знака. С одной стороны, приходится различать вещи как они созданы Творцом и выражены в слове (имени), с другой – их конкретные воплощения и модификации, данные сознанию человека или выраженные в произведении мастера. Разбирая этот момент, С. Неретина пишет: «Вещи, сотворенные по Слову (в этом смысле слово всегда деловито и технично), не ноуменальны. Они подвижны и неустойчивы в своих значениях. Это особенно ясно при чтении Боэциевых «Комментариев» к «Категориям» Аристотеля, где его мысль почти зримо соскальзывает с идеи имени как *попеп* на имя как

vocabulum, обнаруживая трудности для перевода: оба термина – «имя», но это разные имена. Ибо *nomen* указывает на вечный и неизменный Нус, Ум, а звучащее *vocabulum* – на дрожь изменения, если не измены, имея прямое отношение к времени (что невозможно для Аристотелева понимания имени), к глагольности. Отныне важным становится не утверждение эйдетичности имени, но его значение для человека, что самого человека непосредственно вводит в онто-теологическую систему. Земной мир, требующий уместности хотя бы ради человеческого спасения, предполагается не осколком вечности, а конкретностью, сращенностью с вечностью, обеспечивающей человеческое существование». Далее, цитируя Августина, говорящего, что если бы в человеке «умолк всякий язык, всякий знак», то последний услышал бы непосредственно Бога и узрел вечную жизнь, Неретина старается показать, что знаки в средневековом понимании обеспечивают связь мистического знания вещей (тогда они есть не образы, а сами предметы) с обычным человеческим знанием вещей. Она пишет: «И еще более строго выраженная эта же мысль (Августина): в огромном вместилище памяти «находятся все сведения, полученные при изучении свободных искусств, и еще не забытые; они словно засунуты куда-то внутрь, в какое-то место, которое не является местом: я несу в себе не образы их, а сами предметы». Обнаружить точку преобразования рационального знания в мистическое (от образов или знаков предметов к самим предметам, от образа или знаков Бога к самому Богу) и помогает та самая техника, или умение ума силою вопрошания души» (45, с. 205–207).

Я бы прокомментировал этот текст следующим образом. Именно понимание вещей, как сотворенных Творцом по Слову, и одновременно данных человеку во множестве конкретных воплощений, в сознании и техническом произведении, заставляет Августина вводить понятие знака как медиатора и связи слова (имени) и вещи, абсолютного значения и конкретного смысла. С одной стороны, понятие знака позволяет схватить, осмыслить акт творения вещи по Слову (в дальнейшем – любой акт создания, начиная от ремесленной деятельности, кончая проектированием и инженерией), с другой – акт понимания и употребления вещи (в дальнейшем – коммуникацию и практическое использование). В понятии «знак» мысль получает возможность *приписывать слову саму вещь* (поскольку Творцом и в Творце она создана именно по Слову) и одновременно *указать на человеческий контекст* (т. е., как вещь нужно понимать, как она используется). В этом плане семиотический подход включает две важные практики – **создания вещей с помощью знаков** (любых вещей и предметов, включая идеальные) и **различения «семиотической нормы»** (значения, денотата, предмета) и **ее конкретной реализации** (смысла, концепта).

Нетрудно сообразить, что поскольку семиотика строится на основе разных традиционных дисциплин и по-разному в смысле выбора новых подходов, а также способов перехода от традиционных теоретических дисциплин к этим подходам, то и вариантов семиотики должно быть несколько, что мы и наблюдаем в реальности. Предложенные здесь представления позволяют по-новому осмыслить задачи семиотики.

Во-первых, семиотические исследования должны восполнить традиционные (логические, лингвистические, психологические, социологические и т. д.) в области новых задач, которые были поставлены временем, но на которые эти дисциплины при их создании не были ориентированы (конечно, при условии, что ресурсы этих традиционных дисциплин пока не исчерпаны). Например, соглашаясь, что имманентное изучение языка за последние 40 лет кое-что дало, Г. Щедровицкий перечисляет новые задачи, которые, с его точки зрения, на основе этого подхода решены быть не могут: «1) о соотношении «языка» и «речи» (в сосюрровском смысле); 2) о соотношении социального и индивидуального в них; 3) о законах развития «речи-языка» (95, с.24). Вряд ли эти задачи, особенно вторую и третью, взялись бы решать лингвисты традиционной ориентации, но Л. Ельмслев или Р. Якобсон их уже будут, во всяком случае, обсуждать.

Во-вторых, семиотические исследования должны очертить области, в которых необходимо менять контексты и соответственно логику изучения, говоря иначе – включать традиционные объекты изучения в принципиально новые образования. Именно поэтому *одна из основных задач семиотики – построение классификаций (типологий) знаков и знаковых систем*. Каждый такой класс (тип) задает свой особый случай связи традиционного объекта изучения с выбранным контекстом (образованием).

Наконец, в-третьих, важная задача семиотического исследования – проведение собственно семиотического объяснения. Его особенностью является перенос объяснения и оснований в область «жизни знаков». Для семиотиков бытие знаков является более ясным, чем существование других объектов и предметов, которые поэтому нуждаются в семиотическом прояснении. Понятно, что другие «дисциплинарии» с этим вряд ли согласятся, у них свои критерии ясности.

Если мы теперь с этой точки зрения посмотрим на разные направления семиотики, то сможем их охарактеризовать по-новому, найдя им достойное место в общем процессе семиотического познания. Например, Пирс шел от традиционной логики и изучения мышления, а в качестве нового подхода формировал представление о практике. Г. Щедровицкий отталкивался не только от изучения мышления, но и от содержательной логики, психологии и педагогики; новый подход у него задавался идеями деятельности, обучения и развития. Ф. де Соссюр шел от языкознания, а новый подход задавался идеей коммуникации. В. Канке стартовал от традиционной философии в направлении ряда современных философских идей – значения языка, практики, понимания и ряда других. Е. Черневич основывалась на проблемах визуальности, лингвистики и традиционной логики, ориентируясь на такой новый подход как практика графического дизайна. Эко идет от задач искусствознания, теории массовой коммуникации, лингвистики; новый подход для него задается идеей коммуникации, за которой просматривается и ряд других – культуры, практики, общения. И хотя все перечисленные авторы, выступившие идеологами самостоятельных направлений в семиотике, вводят семиотические понятия и ведут семиотические исследования (или это делают их последователи), мы имеем существенные расхождения как семиотических понятий, так и характера семиотических исследований. Иначе, учитывая все сказанное, и быть не может.

Анализ показывает, что в своем развитии семиотика прошла три основных этапа. На первом (здесь я характеризовал именно его) это были своего рода *методологические (технические) схемы*, выполнявшие две основные функции: они обеспечивали связь традиционных предметов (логики, психологии, искусствознания, языкознания и т. п.) с новыми подходами – деятельностным, прагматическим, герменевтическим и др.

На втором этапе семиотические схемы и представления были объективированы, т. е. рассмотрены как *самостоятельная объектная реальность*. Собственно, с этого момента начинает складываться семиотика как самостоятельная наука. Знаки и отношения между ними начинают изучаться, создаются типологии знаков, описываются закономерности функционирования или формирования знаков и знаковых систем.

У. Эко не только осознает, но и более детально развивает оба указанных этапа. Центральное понятие его семиотической концепции – «код» истолковывается им двояко: код – это то, что задает (определяет) систему значений, и код – это структура. В свою очередь, структура понимается Эко, с одной стороны, как метод структуралистского исследования (здесь код выступает в виде соответствующих «технических» схем), с другой – как особая онтологическая (семиотическая) реальность. Эко специально обсуждает парадокс структуралистского подхода – невозможность принять онтологическое существование структур, так же, впрочем, как и признать стоящую за ними онтологию Духа. Структурный метод, отмечает Эко, «не столько обнаруживает структуру, сколько выстраивает ее, изобретает в качестве гипотезы и теоретической модели и утверждает, что все изучаемые явления должны подчиняться устанавливаемой струк-

турной закономерности... *Код – это модель, являющаяся результатом ряда условных упрощений, производимых ради того, чтобы обеспечить возможность передачи тех или иных сообщений*... понятие структурной модели рассматривается в свете операционистской методологии, не предполагая утверждений онтологического характера; и если вернуться к аристотелевским субстанции и колебаниям между онтологическим и эпистемологическим полюсами, то выбор будет сделан в пользу последнего... С другой стороны, попытка выявления однородных структур в различных явлениях (и тем более, если речь идет о переходе от языков к системам коммуникации, а от них – ко всем возможным системам, рассматриваемым как системы коммуникации) и признания их устойчивыми, «объективными» – это нечто большее, чем просто попытка, это непереносимое соскальзывание от «как если бы» к «если» и от «если» к «следовательно». Да и как требовать от ученого, чтобы он пускался на поиски структур, и при этом не позволять ему хотя бы на минуту допустить, что он занимается реальными вещами?.. Однако Леви-Строс (и разве не о том же говорили и мы?) вечно колеблется между исследованием объективных структур и убеждением в том, что эти структуры представляют собой не что иное, как удобный с методологической точки зрения инструментарий» (100, с.66, 290–291, 355).

Комментируя эти глубокие размышления, замечу: дело не в том, что есть код или структура – метод исследования и удобный инструментарий или же реальные объекты. Это и то и другое, в разных функциональных значениях на каждом из двух указанных этапов. Дело в другом: во-первых, в необходимости понимать, как в конкретном случае мы используем соответствующие понятия (в качестве метода исследования или объекта), во-вторых, в том, чтобы контролировать работу в каждом из этих употреблений, наконец, в-третьих, в необходимости следить за границами каждого употребления, с тем чтобы не запутаться в противоречиях, вовремя избежать их.

Теперь третий этап. Здесь семиотические представления и понятия сами начинают использоваться в других науках в целях объяснения и обоснования. Ряд ученых считают, что именно семиотические представления задают *истинную реальность*, на основе которой можно понять все остальное. Например, когда В. Канке пишет, что «любую из традиционных философских категорий можно переформулировать и представить в семиотическом виде» или что «семиотической философии нет альтернативы», он выражает именно этот взгляд. Переформулировать и представить, конечно, можно, но только вопрос, что останется после этого от живой философской мысли. Иначе, это вопрос о том, в каком случае семиотизация ведет к обогащению предметного содержания, а в каком к обеднению или простой редукции, возможно, и бесполезной для самой семиотики, но бесполезной или даже разрушительной для соответствующего предмета (например, философии).

§ 2. Семиотика как наука

Исключает ли предложенный здесь взгляд на семиотику ее становление как науки? Естественно, нет, но не как единственной самостоятельной естественной науки, а как многих родственных наук, соответствующих разным вариантам семиотического подхода. Для формирования самостоятельной науки еще со времен Аристотеля считают необходимым не обобщение представлений других наук (этот момент может быть только подсобным), а *выделение определенной области изучения (рода), построение идеальных объектов и фиксирующих их понятий («начал»), сведение более сложных случаев, принадлежащих данной области изучения, к более простым, фактически же к сконструированным идеальным объектам, обоснование всего построения в соответствии с принятыми в данное время критериями и нормами строгости и научности.*

Например, Е. Черневич в качестве области изучения выделяет языковые тексты графического дизайна. Идеальные объекты она строит, исходя из известных отношений, устанавливаемых в семиотике между планами выражения и содержания, а именно отношениями синонимии, метафоры, метонимии, антонимии, расширения и сужения.

Я в своих ранних семиотических исследованиях в качестве области изучения брал «математические» тексты древнего мира, а идеальные объекты конструировал на основе семиотических схем замещения, разработанных Г. Щедровицким и другими представителями ММК (93). При этом мне удалось построить следующую типологию знаков (они же при другой интерпретации – идеальные объекты): *знаки-модели, знаки-символы, знаки-обозначения, знаковые группы, знаковые фигуры, знаковые «предметы»* (см.: 67). Каждый такой идеальный объект изображался структурной схемой. На основе одних идеальных объектов в процедуре структурного преобразования строились другие, более сложные. Например, более сложный тип знака мог быть получен за счет того, что замещался не исходный объект, сформированный в практической деятельности, а знак, замещающий этот объект. В семиотических исследованиях, посвященных анализу искусства, я использовал данную типологию знаков для реконструкции происхождения наскальной живописи и музыкальных выражений Нового времени, включая фиксирующую их нотную запись. При семиотическом истолковании генезиса науки я был вынужден ввести еще один тип знаков – *«знаки выделения»*. Другими словами, семиотические конструкции при изучении искусства и науки были получены в рамках семиотической теории при сведении новых случаев к уже изученным, а также построении новых идеальных объектов.

Решая другую, более сложную задачу – культурно-семиотического осмысления философии и феномена человека, я расширил набор семиотических представлений, добавив к знакам еще две группы семиотических представлений. Во вторую группу вошли представления о «семиотических схемах» и их типах (я ввел понятия *«нарративные схемы», «коллективные схемы», «приватные схемы», «согласующие схемы», «онтологические схемы», «направляющие схемы»*). В третью группу вошли представления о *«семиотическом организме»* и его типах (научном, проектном, художественном и пр.).

Эко имеет в виду несколько задач и предметных областей: с одной стороны, – объяснение феноменов искусства, кино, архитектуры, рекламы, с другой – построение семиотической концепции, описывающей эти феномены и разрешающей основные проблемы и дилеммы современной семиотики.

Думаю, не надо специально доказывать, что теоретические построения Е. Черневич, В. Розина, и У. Эко – это не три проекции одного (пусть еще только предполагаемого) объекта, а просто три разные семиотические теории (науки).

Особая ситуация – когда семиотические представления используются для формирования объекта, отвечающего семиотической теории. Например, представления, развитые в исследованиях Е. Черневич, используются ею для формирования в обучении соответствующих способностей дизайнеров: различения видения и смотрения, разных способов чтения и понимания визуальных текстов, создания визуальных текстов с разным соотношением между планами выражения и содержания и т. п. Поскольку дизайнер, прошедший школу Черневич, приобретает все эти способности, семиотические представления Черневич по отношению к данному случаю выступают не только как теория, обладающая объяснительными и дескриптивными возможностями, но и как теория, позволяющая *предсказывать, рассчитывать, управлять соответствующими способностями*. Но конечно, подобные, напоминающие научно-инженерные, возможности сохраняют свою силу только относительно сформированной реальности.

Следовательно, целесообразно различать семиотические теории двух типов. Первые ориентированы на *античный идеал познания*, для которого важно выделить некоторые предметные области и развернуть систему непротиворечивых знаний, применяя правила логики и категории. При этом разрешается определенный круг проблем и противоречий, связанных с данным предметом. Вторые ориентированы на *идеал естественной науки*, т. е. предполагают *формирование под семиотическую теорию соответствующего объекта*. Основанием выделения предметной области в данном случае выступает именно формирующая деятельность. Можно высказать и более сильную гипотезу: гуманитарные и социальные науки становятся эффективными (не вообще, а с точки зрения практики и современных требований) только в том случае, если удастся сформировать отвечающие им объекты. (Тогда они сближаются с естественными науками). Например, психоанализ стал по-настоящему действенным после того, как в рамках психоаналитической практики и пропаганды психоанализа удалось сформировать своего психоаналитического клиента.

В более поздних своих исследованиях я все дальше уходил от естественнонаучного подхода и теории деятельности, склоняясь к гуманитарному подходу, культурологии и психологии; в результате постепенно вместо одного основания (им была деятельность) я принял четыре дополнительных – **Культура, Социум, Личность и Деятельность**. В свою очередь, это повлекло за собой смену семиотического подхода. Чтобы пояснить новый подход, приведу развернутую иллюстрацию – схему реконструкции происхождения наскальной живописи (ниже эта реконструкция будет приведена полностью). В ходе этой реконструкции я использовал понятия знака-модели и знака-выделения из первой группы семиотических представлений и понятие нарративной схемы из второй группы.

Генезис древней живописи позволяет выделить следующие логические этапы. На *первом этапе* человек не умеет рисовать и не обладает соответствующими психическими способностями. Одно из его основных занятий (деятельностей) в период «досуга» – тренировка, от качества которой зависели результативность охоты, а часто и сохранение самой жизни человека.

На *втором этапе* анализируется ситуация, в которой мишень животного или человека (пленника), используемая для тренировки, разрушается (съедается), в связи с чем складывается «разрыв», напряженность. Эта ситуация, как показывают исторические исследования, решается за счет изобретения искусственной мишени. Она представляет собой *обвод* животного или человека, прислоненных к вертикальной каменной стене; линия обвода выполняется минеральной растительной краской или выбивается каменным орудием. Историческая реконструкция позволяет предположить, что первоначально *обвод* получается из соединения отметин (выбоин), оставленных на стене в ходе тренировки наконечниками стрел или копий вокруг тела животного (человека). В дальнейшем *обвод* делается именно как обвод, т. е. сразу проводится линия вокруг тела. Поскольку человек не умеет рисовать и не обладает соответствующими способностями (видения и понимания рисунка), он за обводом не видит предмета, для него это просто линия, мишень.

На третьем этапе возникает необходимость повысить мотивированность своей деятельности (ведь человек стреляет теперь не в предмет, а в стену), чтобы сделать действия охотников понятными для членов племени, подключающихся к тренировке. Воспоминание о стоявшем у стены реальном предмете (животном, человеке) обуславливают интересный психологический сдвиг и трансформацию. Образ предмета, который раньше актуализировался (воспроизводился) только при наличии самого предмета, теперь, видоизменяясь, актуализируется при наличии обвода этого предмета. Другими словами, архаический человек постепенно начинает видеть в обводе сам предмет. Но это означает, что возникают знак и изображение – рисунок. В свою очередь, появление рисунка создает новую проблему – идентификации изображенного предмета: нарисованные на стенах люди и животные по многим признакам отличаются от обычных (они не двигаются, не дышат, не питаются и т. д.), в то же время для архаического человека они выглядят как живые.

Культурно-семиотическая реконструкция позволяет показать, что нарисованные предметы были осмыслены архаическим человеком как души (людей или животных), которые несут их жизнь, а также могут на время или навсегда покидать «свой дома», т. е. тела. С семиотической точки зрения сложившиеся образования могут быть истолкованы двояко: рисунок предмета как знак-модель, а представление о душе как знак-выделения и простейшая нарративная схема (дело в том, что архаический человек осознает душу в форме рассказа о ней, например, он говорит, что «душа ушла, вернулась, чего-то хочет» и т. п.).

Анализ приведенной реконструкции позволяет сделать следующие выводы.

1. Появление (изобретение) рисунка и представления о душе было обусловлено определенным состоянием социальной системы (возникла необходимость восстанавливать мишень после ее разрушения и понять увиденные на стенах новые предметы).

2. Эта проблема была разрешена в результате не только изобретения *обвода* и представления о душе, но и адаптации (присоединения) к новой деятельности человека.

3. В свою очередь, такая адаптация предполагает образование знаков и нарративной схемы и как необходимое условие этого – изменение психики, т. е. появление в психике новообразования – психического опыта (образа), актуализировавшегося на материале обвода или в тексте нарратива (рассказа) о душе. Подобный психический опыт – безусловно новое психическое образование: он адаптирован к знаковому материалу, живет по логике действий с этим материалом, обеспечивает связь новых действий со старыми.

Эта реконструкция и другие примеры семиотического анализа подсказывают следующую гипотезу. Сущность знака (семиотической схемы, познавательного семиозиса) задается относительно четырех планов: *социальной системы, коммуникации* (планы социума и культуры), *деятельности* и *человеческой психики* (третий и четвертый планы). По отношению к первым двум планам знак – это способ разрешения определенной социокультурной проблемы («разрыва», конфликта и т. д.). По отношению к третьему плану знак (схема, семиозис) является средством организации и переорганизации деятельности, позволяя ввести в нее особое звено – собственно действия со знаками. По отношению к четвертому плану знак (схема, семиозис) – это необходимое условие изменения психики: формирование новых типов знаков, схем и семиозисов ведет к новой организации психических процессов. В этом отношении сигнификация и определенный такт изменения психической организации есть две стороны одного процесса. Внешним контекстом для него является построение новой деятельности и разрешение определенной социокультурной проблемы.

Можно показать, но я этим не буду заниматься, что смена варианта семиотики повлекла за собой и смену оснований; частично они рассмотрены в моей книге «Культурология» (см.: 69). Но представленные мной характеристики культуры, социума, личности и деятельности не могут выступить основанием для различных направлений семиотики. У этих направлений свои основания.

Другой вопрос, как организовать в семиотике нормальную научную коммуникацию. Думаю, все заинтересованные участники этой коммуникации по возможности (ведь не все – методологи) должны отразить свои подходы и границы исследования и опубликовать результаты этой работы. Затем по поводу этих результатов можно будет организовать дискуссию, которая поможет лучше понять друг друга, разойтись в случае несогласия или заимствовать какие-то результаты в случае частичного совпадения или пересечения позиций. При этом нужно учитывать два важных обстоятельства. Первое – что представления и понятия той или иной семиотической теории формировались в определенном контексте, для решения определенных задач, но этот контекст и задачи, как правило, не указаны. Второе – что существуют разные идеалы и типы наук – *античный идеал науки, естественнонаучный, гуманитарный, социальный*. Учет первого обстоятельства заставляет реконструировать не выявленные явно контекст и задачи рассматриваемой семиотической теории, а второго – реконструировать соответствующий тип семиотического знания.

Другое направление развития моих семиотических исследований привело к созданию учения о психических реальностях, которые я рассматриваю как области событийного опыта личности (см.: 63; 64). Один из планов формирования психических реальностей – семиотический. Например, в своих исследованиях я выделяю реальности сновидений, искусства, игры, научные, обычной практической жизнедеятельности и др. Устанавливаю следующую типологию реальностей: *контрреальности* (т. е. направленные друг против друга), *непосредственные реальности* (понимаемые человеком как «последняя реальность», как то, что существует «на самом деле»), *производные реальности* (понимаемые как производные от непосредственной, обусловленные ею), *«Я-реальности»* (т. е. реальности, сложившиеся в результате осознания личности, точнее психотехнического опыта работы с ней). Именно в рамках учения о психических реальностях я осмысливаю символистику. Приведу пример – истолкование символа «крест».

Возьмем распространенное, почти стандартное литературное выражение. «Благословляя молодых, отец с матерью перекрестили их». Здесь символ креста, с одной стороны, может быть истолкован как обычный знак. Так, его создают из определенного «материала» – чертят в воздухе крест; он в данном контексте имеет вполне определенное значение (передача благодати); с ним действуют как с самостоятельным объектом, в данном случае его относят (присоединяют) в пространстве к молодым. С другой стороны, символ креста оживляет, актуализирует для человека сложную реальность – историю распятия на кресте Христа и многие другие события христианской истории и жизни, где крест фигурирует как важный сюжетный и смысловой элемент. В этой своей второй функции символ креста позволяет человеку не только войти в соответствующую реальность, но и пережить волнующий процесс взаимодействия и интерференции событий христианской реальности, подчиняющихся логике конкретной ситуации благословения, и наоборот, увидеть и почувствовать события конкретной ситуации благословения как частный случай событий известной христианской реальности.

Очевидно, символика – это родственный семиотике предмет, возникающий в ходе объединения традиционных теоретических дисциплин (логики, психологии, языкознания, искусствоведения, эстетики) не только с указанными выше подходами (прагматическим, деятельностным, коммуникационным), но и подходами феноменологическими. В феноменологических подходах, особенно если имеется в виду современное искусство, это объединение трактуется как относящееся к области сознания и символической жизни (я же в теоретическом плане характеризую символическую жизнь в рамках учения о психических реальностях). В теоретической рефлексии символ описывается часто именно с помощью семиотической терминологии. В результате определения символа звучат парадоксально. Например, по Гегелю, символ «является более или менее тем самым содержанием, которое оно как символ выражает» (25, с. 294). Гадамер в работе «Актуальность прекрасного» пишет, что «символ не только указывает

значение, но и актуализирует его – он репрезентирует значение... смысл символа и символического в том, что в нем осуществляется отсылка парадоксального рода: символ сам воплощает то значение, к которому отсылает, и даже делает его возможным» (21, с.301, 304). Если не различать две указанные функции символа – быть обычным знаком и вводить в психические реальности, выражая и актуализируя в них процесс взаимодействия событий этой реальности с событиями обозначаемой символом конкретной ситуации, то действительно определение символа звучит как парадокс.

Замечание. Критика программы моего учителя Г. П. Щедровицкого ни в коей мере не снижает значения его семиотических исследований. Эмпирические и теоретические работы его в этой области (например, исследование атрибутивных знаний (см.: 93)) достойны самой высокой оценки. Я на них учился. Да и методологическая программа построения семиотики должна быть оценена достаточно высоко. Дай Бог, чтобы другие философы мыслили столь четко, последовательно и полемично.

Глава 2

Знаки. Основные типы знаков

Читатель, вероятно, понял, что я считаю семиотику относящейся к гуманитарно-социальным наукам. Знания и понятия этих наук, чтобы быть понятыми и эффективными в плане использования, должны быть дополнены указанием на контекст, в рамках которого они сложились. Поскольку при создании семиотической теории такой контекст, как правило, не указывается, его приходится реконструировать самому. Именно так я и поступлю в отношении собственных семиотических исследований.

§ 1. Реконструкция контекста ранних семиотических исследований

Свои семиотические изыскания я начинал в 60-е годы в рамках программы исследования мышления, сформулированной в Московском методологическом кружке (далее ММК). Кратко его интеллектуальная история такова.

В 50-х годах группа молодых талантливых философов (А. А. Зиновьев, М. К. Мамардашвили, Б. А. Грушин) в попытке прорваться сквозь идеологический марксистский туман, застилавший сознание, обратились непосредственно к изучению мышления К. Маркса. «Мы были людьми, – пишет М. Мамардашвили, – лишенными информации, источников, лишенными связей и преемственности культуры, тока мирового, лишенными возможности пользоваться преимуществами кооперации, когда ты пользуешься тем, что делают другие, когда дополнительный эффект совместимости, кооперированности дан концентрированно, в доступном тебе месте и мгновенно может быть распространен на любые множества людей, открытых для мысли. Этого всего нет, понимаете? И для нас логическая сторона «Капитала» – если обратиться на нее внимание, а мы обратили, – была ...просто материалом мысли, который нам ...был дан как образец интеллектуальной работы. Это не марксизм, это текст личной мысли Маркса, текст мыслителя по имени Маркс... я лично прошел не через марксизм, а через отпечаток, наложенный на меня личной мыслью Маркса...» (40, с. 48–49).

От философского мышления Маркса современные отцы методологии перешли затем к анализу научного мышления, имея целью не только понять его, но также выработать логические представления и императивы для реформации всего современного мышления. При этом если А. Зиновьев склонялся к представлению исследования мышления в виде сложного диалектического процесса *восхождения от абстрактного к конкретному*, стремился понять мысль Маркса как его попытку воссоздать в знании сложное органическое целое, не упуская ни одной из его сторон, то группа последователей А. Зиновьева во главе с Г. Щедровицким после того, как последний идейно разошелся со своим учителем, пошла по другому пути. Вероятно, первое естественнонаучное образование Щедровицкого, да и общий дух эпохи предопределили его отношение к мышлению. Идея историзма сохраняется, но изучение мышления теперь понимается в значительной мере как исследование по образцу естественной науки. Формулируются тезисы, что логика – эмпирическая наука, что мышление – это процесс и мыслительная деятельность, которые подлежат моделированию и теоретическому описанию. Вокруг Г. Щедровицкого в этот период объединяются исследователи с близкими естественнонаучными установками (И. С. Ладенко, Н. Г. Алексеев, В. А. Костеловский и др.) с близкими естественнонаучными установками. Тем не менее речь все же шла о логике, а не о построении естественной науки. Собственно логическая и философская установки отделились в идеи исторического анализа мышления, в требование рефлексии собственного мышления и логического контроля тех исследований, которые в этот период ведутся в ММК.

В первой методологической программе были зафиксированы как эти идеи, так и первые результаты их реализации (схема двухплоскостного строения знания, представление мыслительного процесса в виде «атомов» мышления – конечного набора операций мышления, сведение операций к схемам знакового замещения и т. п.) (см. об этом: 97). При этом в ранних работах Г. Щедровицкого была принципиальная неясность. С одной стороны, он трактует знание в контексте мыслительной деятельности, и тогда оно *редуцируется (сводится) к знаку*. С другой стороны, он сохраняет эпистемологическую трактовку знания. В этом случае знание характеризуется как *структура формы и содержания (форма представляет содержание, содержание представлено в форме)*. Введя понятие «знаковая форма», Г. Щедровицкий пытается удержать

эпистемологическую трактовку знания; настаивая на деятельностной природе мышления, он вынужден сводить знания к знакам.

Сегодня я решаю эту дилемму следующим образом. *Знание не тождественно знаку*. Семиотический процесс является операциональной несущей основой знания. Другими словами, чтобы получить знание, необходимы *замещение, означение и действия со знаками*. Но знание возникает в сознании человека как бы «перпендикулярно», при условии своеобразного *удвоения действительности*. В сознании человека, получающего и понимающего знание, под влиянием требований коммуникации (например, необходимости при отсутствии предмета сообщить о нем другим членам общества) предмет начинает существовать двойко – и сам по себе, и как представленный в семиотической форме (слове, рисунке и т. п.). Знание «слон» фиксирует не только представление о слоне, сложившееся в обычной практике, но и *представление о слоне, неотделимое от слова «слон»*. В обычном сознании эти два представления сливаются в одно целое – знание, но в контексте общения (коммуникации) и деятельности они расходятся и выполняют разные функции. Так, именно второе представление позволяет транслировать знание и действовать с ним как с самостоятельным объектом, в то же время первое представление – необходимое условие формирования и опознания эталона.

Указанное здесь представление о знании (схема знания) в той или иной форме осознавалось многими философами. Например, Аристотель фиксировал различие знания и объекта, причем содержание знания в его системе часто совпадает с сущностью объекта. Кант говорил о созерцании: «Каким бы образом и при помощи каких бы средств ни относилось познание к предметам, во всяком случае созерцание есть именно тот способ, каким познание непосредственно относится к ним и к которому как к средству стремится всякое мышление» (33, с.127). Почему мышление ставится в зависимость от созерцания? А потому, что в знании одно представление фиксируется (отражается) в другом. Мышление, рассматриваемое в качестве способа получения знаний, т. е. познания, и определяется как способность отражения («описания») предмета, как созерцание. Другими словами, о знании мы говорим не только в контексте коммуникации, но и в контексте познания, *для знака же познавательная деятельность не обязательна*. Вот почему я утверждаю, что знание хотя и возникает на семиотической основе, к знакам не сводится. Коммуникация, замещение, означение и другие действия со знаками создают в сознании условия для поляризации целостного представления о предмете: одно из них осознается как знание, второе – как объект знания или его содержание.

Если сравнить первую методологическую программу с исходным замыслом А. Зиновьева, то налицо разительное отличие: мышление было представлено не как сложное органическое целое, стороны и аспекты которого постепенно раскрываются в исследовании при восхождении от абстрактного к конкретному, а в виде естественнонаучной онтологии. Мышление разбивалось на процессы, процессы на операции, каждая операция изображалась с помощью замкнутой структурной схемы, напоминающей по форме химическую, а исторический процесс развития мышления сводился к набору структурных ситуаций (разрыв в деятельности, изобретение знаковых средств, позволяющих преодолеть этот разрыв, образование на основе знаковых средств новых знаний и операций мышления). Все это действительно позволяло вести эмпирическое исследование мышления, но мышления, взятого лишь со стороны объективированных знаковых средств, его продуктов (знаний, предметов, теорий), детерминант мышления (проблем и задач), процедур разного рода (сопоставления, замещения и др.). По сути, анализировалось не мышление как форма сознания и индивидуальной человеческой деятельности, а «вырезанная» (высеченная) естественнонаучным подходом проекция объективных условий, определяющих мышление; эта проекция, как известно, получила название «мыслительной деятельности».

Обратим внимание на подход, реализуемый в тот период. Выступая против формальной логики, Г. П. Щедровицкий, Н. Г. Алексеев, И. С. Ладенко видели преимущество и даже пафос

содержательно-генетической логики, с одной стороны, в *деятельностной ее трактовке*, позволяющей по-новому анализировать форму и содержание знания (они сводились к объектам и операциям), с другой – в *семиотической трактовке* мышления. В соответствии с последней мышление понималось как деятельность со знаками, позволяющая схватывать результаты сопоставления объектов знания с эталонами (т. е. содержание) в определенной форме (знаковой) и затем действовать с этой формой уже как с целостным самостоятельным объектом. Другими словами, деятельностная и семиотическая трактовки мышления фактически были исходными, но до поры до времени рассматривались как способы описания мышления, а не основная изучаемая реальность. Еще один важный момент – установка на *объяснение развития* мышления. Именно по этой линии Щедровицкий и его последователи противопоставляли свой подход формальной логике и традиционной лингвистике, которые объясняли прежде всего функционирование мышления и языка.

Анализ ранних работ Г. П. Щедровицкого показывает, что семиотическая трактовка мышления во многом сложилась под влиянием идей Л. С. Выготского. В работе 1957 г. «Языковое мышление» и его анализ» Щедровицкий, с одной стороны, критикует Выготского, но с другой – заимствует, естественно, видоизменяя, его представление о мышлении (см.: 96). Так, с одной стороны, мышление Щедровицкий рассматривает как знаковое многоплоскостное замещение, возникающее на самой ранней стадии развития ребенка (см. работу Г. П. Щедровицкого «О строении атрибутивного знания» (93)), с другой – мышление, с его точки зрения, представляет собой решения задач и проблем, понятийный способ работы и т. п. «Итак, приступая к исследованию мышления, – пишет Г. П. Щедровицкий, – мы должны начать с непосредственно созерцаемого, с языка, – со слова... знак языка имеет значение и поэтому он отражает или выражает. Это значение входит в состав слова, является «моментом» его структуры, таким же ингредиентом, как сам знак» (96, с.456). Ближе к концу статьи Щедровицкий отмечает, что «мышление представляет собой особую деятельность (с образами природы), отличную от деятельности чувственного отражения. А это, в свою очередь, значит, что знаки языка, выражающие понятия, относятся к своему особому объективному содержанию особым образом, т. е. имеют особое специфически мысленное, понятийное значение» (96, с.463).

Второе обстоятельство, определившее формирование первой программы, связано с внутренней логикой работы самих методологов. Как я старался показать на первых «Чтениях», посвященных памяти Щедровицкого, при создании схем и понятий содержательно-генетической логики методологи субъективно руководствовались поиском истины и желанием понять природу мышления, однако объективно (т. е. как это сегодня видится в реконструкции) решающее значение имели, с одной стороны, способы организации коллективной работы – жесткая критика, рефлексия, обсуждения, совместное решение определенных задач и т. п., с другой – возможность реализовать основные ценностные и методологические установки самих методологов (*естественнонаучный подход, деятельностный, семиотический, исторический, идею развития* и др.). Не должны ли мы, следовательно, утверждать, что характер мышления методологов был обусловлен не только естественнонаучными и логическими установками, но и ценностями и особенностями того уникального сообщества (союза преданных идее людей), который в тот период сложился?

Следующий этап исследования, закономерен с точки зрения естественнонаучного подхода вытекающий из предыдущего, – анализ факторов и механизма, определяющих развитие мышления и знаний. Поскольку естественнонаучный подход ориентирован на практику инженерного типа, где и должны использоваться естественнонаучные знания, исследователь стремится не только описать в теории основные процессы, объясняющие поведение интересующего его объекта, но и выявить и проанализировать условия (факторы, механизмы), определяющие (детерминирующие) эти процессы. Такие условия содержат как другие процессы изучаемого явления, влияющие на основные процессы, так и компоненты, на которые исследова-

тель может воздействовать практически (например, техническим путем). Но для методологов ММК в качестве практики выступала не буквально инженерная, а частно-методологическая и социотехническая, включающая в себя нормирование мышления и организацию деятельности специалистов-предметников (ученых, проектировщиков, педагогов, инженеров, менеджеров и т. д.).

Последний момент является исключительно важным. В начале 60-х годов методологи пришли в ряд научно-исследовательских и проектных институтов, где и пытались нормировать и организовывать мышление ученых, инженеров и проектировщиков. При этом представления о мышлении, полученные в ходе исследования его генезиса (прежде всего на материале математики и естественных наук), постоянно переносились на мышление самих методологов, а также мышление ученых, инженеров и проектировщиков, и наоборот. В то же время понималось различие всех этих трех типов мышления (исторического, методологического и предметно-дисциплинарного). В качестве еще одного момента можно указать на поиск органических основ развивающегося мышления, под которыми понимались механизмы и структуры, обеспечивающие подобное развитие мышления и знаний.

Поскольку нормирование и организация мышления других специалистов рассматривались в тот период как главное звено работы, как деятельность, приводящая к развитию предметного мышления, суть мышления стали видеть именно в деятельности. Постепенно деятельность стала пониматься как особая реальность, во-первых, позволяющая развивать предметное мышление (в науке, инженерии, проектировании), во-вторых, законно переносить знания, полученные при изучении одних типов мышления, на другие типы мышления. Теоретико-деятельностные представления о «пятичленке» (структуре, содержащей блоки «задача», «объект», «процедура», «средства», «продукт»), о кооперации деятельности и позициях в ней (например, кооперации «практика», «методиста», «ученого», «методолога»), блок-схемное представление «машины науки», схемы воспроизводства деятельности и др. (см.: 98; 99) позволили не только объяснить, почему происходило развитие тех или иных процессов мышления и появление в связи с этим новых типов знаний, но также использовать все эти схемы и представления в качестве норм и организационных схем по отношению к другим специалистам. Предписывающий и нормативный статус таких схем и представлений объяснялся и оправдывался, с одной стороны, тем, что они описывают деятельность и мышление специалистов (ученых, проектировщиков, педагогов, инженеров и т. д.), с другой – наличием в методологии проектной установки (в этот период участники кружка осознавали свое занятие уже не как построение логики, а как методологическую деятельность). Считалось, что методологи не только научно описывают деятельность других специалистов (и свою в том числе), но и проектируют ее, внося в схемы деятельности связи, отношения и характеристики, необходимые для ее более эффективной организации и развития.

А мышление? Сначала считалось, что анализ деятельности как раз и есть реализация установки на исследование мышления как деятельности. Затем была поставлена специальная задача: описать мышление в рамках деятельностной онтологии; при этом Г. П. Щедровицкий предложил использовать идеи системно-структурного подхода, синтагматики и парадигматики, а также сферы деятельности (см.: 99, с. 479). Но решена эта задача так и не была.

Все указанные особенности второго этапа развития ММК были изложены в ряде работ, которые сегодня можно рассматривать как вторую программу – *программу построения теории деятельности*. При этом, как показал дальнейший ход событий, эта программа оказалась довольно быстро реализованной: в течение нескольких лет было построено столько схем и изображений деятельности, что их с лихвой хватало на описание любых эмпирических случаев. В результате Г. П. Щедровицкий пришел к выводу, что теория деятельности построена (я отмечал на «Чтениях», что в конце 60-х годов Щедровицкий сказал мне в частной беседе: «Главное уже сделано, основная задача теперь – распространение теории деятельности и мето-

дологии на все другие области мышления и дисциплины»). Но этот финал можно понять иначе: исследования и мышления и деятельности прекратились, построенные схемы и представления были объявлены онтологией, реальность была истолкована как деятельность, а методологическая работа свелась к построению на основе этих схем и представлений нормативных и организационных предписаний для себя и для других специалистов. Если же описываемый материал все же сопротивлялся, схемы теории деятельности достраивались и уточнялись. Но вся эта работа шла в рамках закрепленной онтологии и убеждения, что ничего, кроме деятельности, не существует.

Если теперь суммировать характеристики контекста моих ранних семиотических исследований, то можно указать на следующие моменты.

1. Знаки в значительной степени отождествлялись со знаниями и трактовались как средства развивающегося мышления, позднее – деятельности.

2. Главными методологическими установками являлись установки на естественнонаучное объяснение, деятельность и развитие.

3. Знакам приписывались три основные функции: замещать объекты или другие знаки, фиксировать выявляемое в деятельности (при сопоставлении объектов с эталонами) содержание, становиться самостоятельными объектами деятельности.

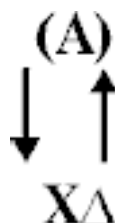
4. Развитие мышления объяснялось в такой схеме. На определенной ступени развития складываются «ситуации разрыва» (социальные напряжения, проблемы), которые разрешаются за счет изобретения знаков и перестройки исходной деятельности. Деятельность со знаками (но не только она) является условием формирования последующих ситуаций разрыва.

Приведу теперь пример семиотических исследований того периода, опустив ряд принципиальных моментов (работа в ее исходном варианте относится к середине 60-х годов).

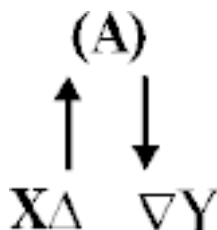
§ 2. Семиотический анализ элементов древней «математики»

Слово «математика» я взял в кавычки, поскольку счет, вычисление площадей и объемов и т. п. – действия, которые сегодня действительно относят к математике, в культуре Древнего Египта, Вавилона, Греции, Индии, Китая (именно этот период меня интересует) понимались иначе, прежде всего как сакральные знания. Я же хочу взглянуть на них как на знаки, решая при этом три основные задачи: описать типы «математических» знаний, понять, как они могли возникнуть и как развивались, в частности, как складывались системы знаков, образующих тело древней «математики».

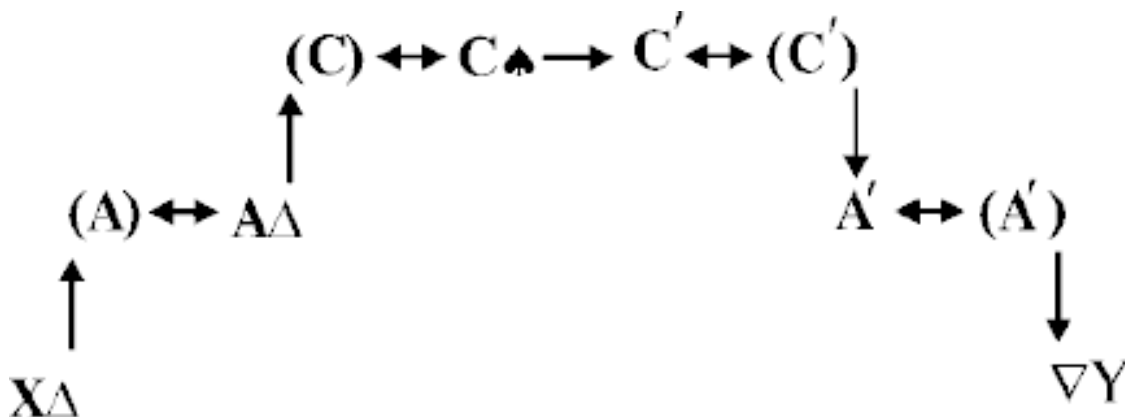
Понятия, необходимые для семиотического анализа, я заимствую из содержательно-генетической логики. Здесь знаки рассматриваются, во-первых, как элементы структуры знания, во-вторых, как объекты, к которым применяются различные операции, в-третьих, как средства мыслительной деятельности (в последней, помимо средств, различаются задачи, объекты, процедуры, методы и продукты). Знания и знаки в семиотическом исследовании изображаются специальными схемами:



(схема 1)



(схема 2)



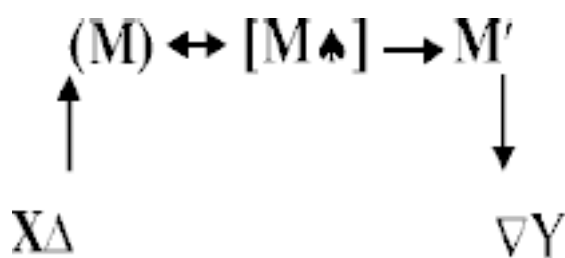
(схема 3)

Элемент (А) в этих схемах называется *знаковой формой*, элементы X и Y – *объектами*, Δ (дельта) – *действием сопоставления*, ∇ (набла) – *действием построения*. Читаются эти схемы так: объект X включается в действие сопоставления (т. е. сопоставляется по какому-либо отношению с общественно фиксированным эталоном); в результате возникает объективное содержание XΔ, которое выражается (стрелка вверх) в знаковой форме (А). Далее возможны разные варианты. Например, знак А относится обратно к объекту X (стрелка вниз). Или с его помощью в действии ∇ создается новый объект Y, сходный по каким-то параметрам с объектом X. Или знаковая форма (А) уже в качестве объекта А в свою очередь включается в действие сопоставления (здесь смена функции знака обозначена символом ↔), результат сопоставления фиксируется в знаковой форме (С); «знак С» уже как объект преобразуется (операция ♠) в объект С', в свою очередь с помощью «знака С' можно, например, создать объект Y.

Знаки-модели

Действия с этими знаками по определенным параметрам сходны с действиями с объектами X и Y, которые эти знаки-модели замещают. Благодаря этому свойству знаки-модели используются вместо объектов, когда с последними по какой-либо причине невозможно действовать. В качестве примера могут быть приведены «числа» примитивных народов Австралии, Африки, Америки (а также иногда маленьких детей): пальцы, камешки, ракушки; письменная нумерация древних народов – I II III... (так записывали числа 1, 2, 3 и т. д. древние египтяне и финикийцы), (числа народов майя) (см.: 15, с. 22; 14, с.7).

Фактически характеристика некоторых знаков как знаков-моделей есть указание на способ их употребления, но вторичным образом она фиксирует и строение их знаковой формы (материала самого знака). Подобно объектам X и Y (т. е. подсчитываемым совокупностям предметов) «числа» древних народов представляют собой совокупности (пальцев, камешков, ракушек, черточек, точек). Их точно так же (точнее значительно легче, чем реальные предметы) можно делить на части, группировать, пересчитывать. Поэтому там, где по каким-либо причинам невозможно было действовать с реальными предметными совокупностями X и Y, делили, объединяли в группы, пересчитывали замещающие их «числа». На схеме употребление знака-модели M можно изобразить так:



(схема 4)

Здесь X – объект, с которым нужно осуществить операцию (например, деление на равные части или сложение равных частей), но это почему-либо невозможно. Объект X замещается знаком-моделью M, с которым действуют (операция ♠ – деление или сложение) вместо X. В результате получается новый знак – число M', с помощью которого создается (отсчитывается) предметная совокупность Y с нужными свойствами (она в равное число раз больше или меньше предметной совокупности X).

Рассмотрим теперь, как могли возникнуть некоторые виды знаков-моделей. Для этого реконструируем (в качестве модельного гипотетического случая) один аспект производственной деятельности по созданию многотонных гигантских статуй (идолов духов) на острове

Пасха; фактическую сторону дела я заимствую из книги Тура Хейердала «Путешествие на Кон-Тики». Каждый идол состоял из двух частей – туловища и парика. Парики сразу по несколько десятков штук делались из красного камня, а туловища – из серого камня, причем карьеры, где добывался серый и красный камень, располагались далеко друг от друга. Предположим, что счет еще не сложился, а в племени каждый мастер был на счету. Чтобы при соединении париков с туловищами не оставалось лишних частей и, следовательно, не пропадала зря рабочая сила (ведь в изготовлении каждого парика и туловища принимали участие много мастеров и на это уходило много месяцев, иногда даже один-два года), необходимо было заранее знать, какую по величине совокупность туловищ и париков необходимо вырубить из камня. Но если еще не сложился счет, сделать это невозможно (т. е. перед нами типичная ситуация разрыва).

Проблема была решена, когда для согласования двух совокупностей (X и Y – париков и туловищ) были использованы маленькие камешки (объекты M). Конечно, первоначально камешки рассматривались наряду с исходными предметными совокупностями, например как отходы производства. Использование камешков M в новой функции позволяет ликвидировать ситуацию разрыва. Камешки соединяются сначала с туловищами (например, в игре кто-то представляет их как будущие парики), а затем переносятся к парикам и соединяются с ними (теперь их представляют как будущие туловища). В этом употреблении функция камешков состоит в том, чтобы перенести некоторое «количество» туловищ к парикам и тем самым задать количество париков, равное количеству туловищ. Это стало возможным, поскольку камешки оказались обладателями счастливых свойств: их можно легко переносить, передавать от одного человека к другому, делить на части, группировать, хранить сколь угодно долго, они не разрушаются от употребления. Другими словами, я перечислил семиотические свойства – с помощью знаков разрешаются ситуации разрыва, их можно транслировать, они не разрушаются от употребления.

Рассмотренная иллюстрация позволяет также понять, что действия со знаками-моделями M тождественны действиям с объектами X только по отношению к определенной группе свойств, точнее определенному использованию знаков (в данном случае эти свойства и употребление задаются понятием количества); относительно других употреблений ни о каком тождестве говорить не приходится.

Знаки-символы

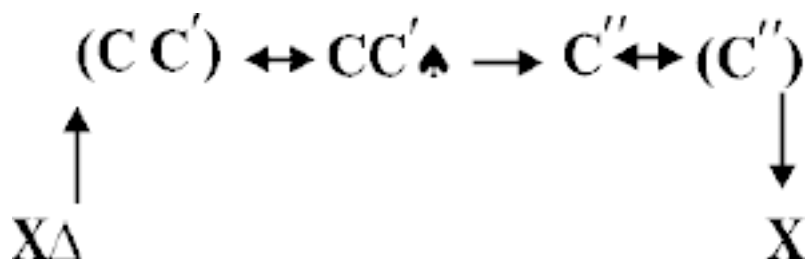
Для этих типов знаков знаковые действия не тождественны действиям с объектами X, которые знаки-символы замещают. Если, например, мы рассмотрим процесс «сложения» чисел 1 и 2 ($1+2=3$), то увидим, что эта операция по своему строению не имеет ничего общего с объединением в пространстве двух реальных совокупностей, что, скажем, имеет место, когда складываются два числа древних египтян I и II (к числу I присоединяют число II и получают число III). Примером знаков-символов могут служить не только современные числа, но и число 10 древних египтян – $\cap$, и шумеров – $\angle$. Нетрудно заметить, что эти числа не представляют собой совокупности из десяти элементов, их нельзя пересчитать или разбить на части. Хотя на более раннем этапе египетское число 10 представляло собой именно десять черточек – ||||||| .

Знаки-символы могут использоваться, во-первых, для тех же целей, что и знаки-модели (например, счета), во-вторых, для осуществления различных формальных операций (умножение, деление, сложение, вычитание и пр.), в-третьих, они подобно знакам-символам могут стать самостоятельными объектами. Рассмотрим одну иллюстрацию – использование египетских чисел для пересчета военного отряда, построенного в 7 шеренг, в каждой из которой стоит по 12 воинов. Сначала египетский писец пересчитывает количество шеренг и число воинов в каждой шеренге. Затем перемножает число 7 на 12 (в древнем Египте умножение осуществля-

лось путем многократного сложения и удвоения чисел). Слева я записал операцию умножения, как она делалась в Египте, а справа для понимания современными числами:

		12	1
		24	2
		48	4
		84	

Теперь ту же деятельность я изображу как действия со знаками-символами С.



(схема 5)

Здесь X – количество воинов в отряде, С и С' – числа 7 и 12, ♠ – операция египетского умножения, С'' – результат умножения, число 84.

Рассмотрим происхождение некоторых видов знаков-символов, например, как могло сложиться египетское число 10. Сначала, как я уже отмечал, числа записывались с помощью определенного количества черточек, т. е. знаков-моделей М. Однако при подсчете больших совокупностей предметов и операциях с соответствующими числами возникали проблемы: не хватало писчего материала, а простые действия сложения, вычитания, деления на равные части или умножения были исключительно утомительными и долгими. Здесь на помощь приходят вспомогательные (разделительные) знаки. Поскольку единицей устного счета была десятка, в практике совокупности чисел М (в нашей интерпретации – это знаки-модели) стали разбивать на группы из десяти элементов (десять человек составляли единицу в войсках, налог сдавали и собирали по десяткам единиц и т. п.). Разбитые на десятки числа М подобно прочим числам «складывались», «вычитались», «делились» на равные части. Чтобы не путать одни десятки с другими, каждая группа из десяти элементов отделялась от других специальным иероглифом – П.

Эти иероглифы выступали в роли особых знаков С, которые можно отнести к *знакам-индексам*. Когда возникли указанные выше трудности с большими числами, вместо того,

чтобы действовать со знаками-моделями стали работать со знаками-индексами, поскольку их было в десять раз меньше, чем чисел.



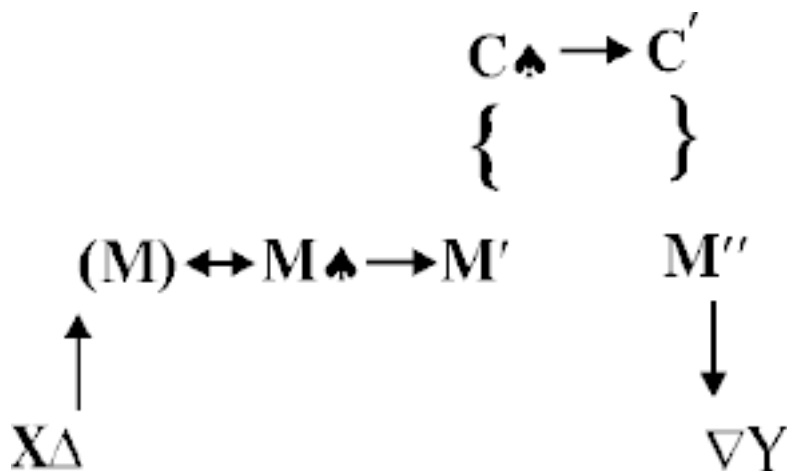
(схема 6)

Здесь M' – числа, разбитые на десятки, C – иероглифы, разделяющие десятки между собой.

С изменением употребления знаков-индексов C постепенно изменился и взгляд на их природу: эти знаки начинают пониматься тоже как числа, но особые – каждое новое число рассматривается как эквивалентное старому числу $|||||||$ (десять). Другими словами, знак C (о) начинает обозначать определенный знак M (число десять), т. е. становится знаком-символом. Получается, что знаки-символы фиксируют содержания, сложившиеся на основе употребления знаков-моделей.

Знаки-обозначения

Генетически это, очевидно, исходный тип знаков. Примером их являются отдельные слова и термины. Знаки-обозначения O используются прежде всего для целей трансляции: и их помощью фиксируются определенные содержания в некоторый момент времени в одном «месте» (ситуации) деятельности и восстанавливаются те же самые содержания в другой момент времени и в другом «месте».



(схема 7)

§ 3. Семиотическое «производство» Древнего мира

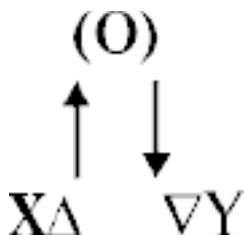
Рассмотрим теперь на двух примерах более сложные случаи использования знаков-моделей и знаков-символов. Оба примера относятся к Древнему Египту и Вавилону, где сложились формулы вычисления площадей прямоугольных полей и способы решения задач, которые мы сегодня относим к уравнениям с двумя неизвестными. Но сначала о мировоззрении людей того времени.

Известно, что они верили в многочисленных богов и ни шагу не могли без них ступить. Совместное участие людей и богов в поддержании жизни и миропорядка в культуре древних царств было закреплено с помощью мифов и сакральных преданий. Их сценарий сводился к следующему: боги создали этот мир и порядок, заплатив за это своей жизнью или кровью, в благодарность люди должны приносить жертвы богам и исполнять установленные ими законы.

Но что конкретно означало для людей выполнение «договора», заключенного между богами и людьми при создании мира и самих людей? Ацтеки вели так называемые «цветущие войны», чтобы приносить своему богу-Солнцу кровавые жертвы (кровь пленных). Но это был крайний вариант развития событий. Обычно же речь шла о другом: о соблюдении законов, а также об отчислении весьма значительных налогов (главным образом, в натуральной форме – зерно, пиво, оружие, рабочая сила), идущих на содержание царского двора, армии и храмов богов. Но воспринимались эти налоги именно как жертва, как способ, совершенно необходимый, чтобы поддержать мир и порядок, чтобы боги выполняли свое назначение, без которого нет ни мира, ни порядка, ни самой жизни людей. Если же по какой-либо причине миропорядок нарушался, то это воспринималось как гнев богов и грозило гибелью всего. Поэтому нарушенный порядок стремились восстановить любой ценой, чего бы это ни стоило. Из этих усилий, как ни странно, рождались элементы сакрально понимаемых науки, права, астрономии, искусства. Проиллюстрируем последнее.

Например, геометрия, точнее практика, в которой использовались алгоритмы вычисления площадей полей правильной формы, а также их планы и расчеты элементов, была изобретена, когда нужно было восстанавливать границы полей, смываемых каждый год Нилом и Евфратом (см.: 14; 15; 44). И как еще, как ни катастрофу, мог древний египтянин или шумер понимать такой разлив: вода унесла межевые камни, какой теперь брать налог – неизвестно, а если налог не будет вовремя получен, боги разгневаются и отвернутся от человека, да и сама жизнь будет под угрозой. Но рассмотрим подробнее, как, например, сложился алгоритм вычисления прямоугольного поля.

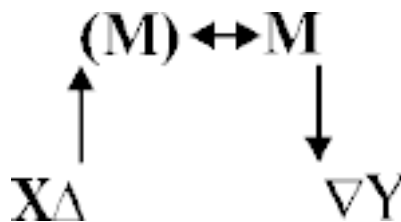
Так как разливы рек смывали границы полей, перед древними народами каждый год вставала задача – восстанавливать границы, при этом необходимо было, чтобы каждый земледелец получил ровно столько земли, сколько он имел до разлива реки. Судя по археологическим данным и сохранившимся названиям мер площади, данная проблема частично была разрешена, когда размер каждого поля стали фиксировать не только границами, но и тем количеством зерна, которое шло на засев поля. Действительно, наиболее древняя мера площади у всех древних народов – «зерно» – совпадает с мерой веса, имеющей то же название.



(схема 8)

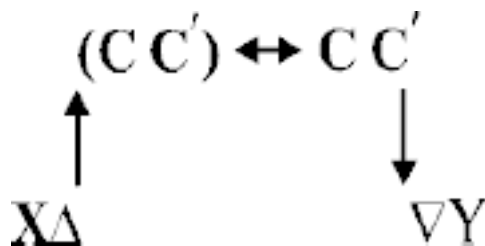
Здесь X – поле, подлежащее восстановлению, Y – восстановленное поле примерно той же величины, M – количество мер зерна, идущее на восстановление поля.

Однако восстановление полей с помощью зерна не всегда было возможным или удобным: часто необходимо было восстановить поле, не засеивая его, засеивать можно было по-разному, получив больше или меньше площади, и т. д. Эмпирический материал подсказывает, что был изобретен новый способ восстановления полей: теперь для восстановления прямоугольного поля Y , равного по величине полю X , подсчитывали количество оставленных плугом в поле гряд C (их толщина была стандартной), а также длину одной их гряд C' . В языке древних народов «гряда» – это не только название части поля, но и мера площади.



(схема 9)

Введение эталонной гряды, подсчет количества гряд и их длины тоже не разрешали всех затруднений, поскольку в древнем земледелии постоянно приходилось решать задачи на сравнение по величине двух и более полей. Предположим, имеются два поля, которые надо сравнить. В первом поле 25 гряд и каждая гряда имеет протяженность 30 шагов, а в другом – 50 гряд протяженностью в 20 шагов. Спрашивается, какое поле больше и на сколько? Сделать это, сравнивая числа, невозможно: у первого поля большая протяженность гряды, но, с другой стороны, меньше гряд. Однако поля можно сравнить по величине, если у них или одинаковое количество гряд или одинаковая протяженность (длина) гряды. Именно к этой ситуации старались прийти древние писцы и землемеры. Заметив, сравнивая урожаи полей, что величина поля не изменится, если длину гряды (количество гряд) увеличить в n раз, и соответственно количество гряд (длину гряды) уменьшить в n раз, они стали преобразовывать поля, но не реально, а в плоскости замещающих их знаков (чисел). Например, чтобы решить приведенную здесь задачу, нужно количество гряд в первом поле увеличить в два раза ($25 \times 2 = 50$), а длину гряды, соответственно, уменьшить в два раза ($30 : 2 = 15$). Так как в Древнем мире обычно сравнивали большое количество полей разной величины (например, в Древнем Вавилоне сразу сравнивали несколько сотен полей), то постепенно сложилась практика приведения длины гряды к самой маленькой длине полей и, в конце концов, к единице длины (один шаг, локоть). Соответственно, чтобы не изменилась величина поля, количество гряд умножали на длину полей. Например, для полей, величина которых выражается числами – 10, 40, 5, 25, 15, 20, 2, 30, получалась следующая таблица:



или после соответствующих арифметических операций:

10:10	40x10
5:5	25x5
15:15	20x15
2:2	30x2

Поскольку слева всегда получается число 1, то величина поля выражается только числами и операциями в правом столбце, т. е. *произведением длины гряды на количество гряд*. Естественнo предположить, что этот факт рано или поздно был осознан древними писцами, они стали опускать числа 1 левого столбца и построили принципиально новый способ вычислений: сначала измеряли количество гряд и длину средней гряды (у прямоугольного поля – это любая гряда, у трапециидального и треугольного – среднее арифметическое самой большой и самой маленькой длины), а затем вычисляли величину поля, перемножив полученные числа (14; 15; 44). Но если бы, например, шумерскому писцу, впервые нашедшему формулу вычисления площади прямого поля, сказали, что он что-то там сочинил или придумал, он бы все это отверг как кощунство и неверие в богов. Выводя данную формулу, он считал, что всего лишь описывает, как нечто было устроено богом, что сам бог в обмен на его усердие и богопочитание открывает ему знание этого устройства.

Рассмотренный здесь этап как действия со знаками можно записать так:

1	400
1	125
1	300
1	60

(схема 10)

Здесь ♠ – описанные выше операции преобразования с числами, вплоть до конечной – умножения числа С на С'.

Второй пример относится к реконструкции способов решения шумеро-вавилонских задач.

Реконструируя способы решения вавилонских задач, историки математики оказываются перед лицом парадоксов. С их точки зрения, шумеро-вавилонские математики решали задачи, которые сегодня проходят по ведомству алгебры, геометрии или теоретической арифметики, именно на основе соответствующих математических дисциплин, в то время как последние сложились спустя два-три тысячелетия. Этот парадокс не случаен. Дело в том, что речь в данном случае идет не столько о математике, сколько о математическом мышлении, а мышление, как известно, изучается прежде всего в логике, психологии, теории культуры. Надеясь вавилонских математиков современным стилем и характером мышления, историки математики нарушают, к примеру, некоторые основные принципы исторического рассмотрения культур, принципы исторического анализа человеческого сознания, мышления и поведения. Согласно этим принципам, шумеро-вавилонская культура самобытна и не похожа на современную, языки, сложившиеся в этой культуре (и математические в том числе), принципиально отличны от

современных, мышление и поведение представителей шумеро-вавилонской культуры своеобразны и определяются всем строем данной культуры и ее историей.

Спустимся теперь с абстрактных высот этих принципов на землю и посмотрим – «методом проникновения» в чужую культуру, – как же мог вавилонский математик, он же, как известно, старший писец и распорядитель хозяйственных работ, он же часто и учитель, решать математические задачи.

Для примера мы возьмем следующую типичную задачу.

Условие задачи: два поля **A** гар (гар – мера площади). Одно поле превышает (больше второго) на **B** гар. Узнай каждое поле.

Решение: **A** и **B** разбей (раздели) пополам. Получишь **a** и **b**. Сложи **a** и **b**, первое поле видишь (т. е. величина первого поля равна сумме **a** и **b**). Из **a** вычти **b**, второе поле (величина второго поля равна разности **a** и **b**).

Теперь отправимся в прошлое. Итак, однажды в Древнем Шумере или Вавилоне к вавилонскому писцу, учителю и математику, пришли люди и, поклонившись, говорят: «Ты искусный и мудрый писец, имя твое славится, помоги нам поскорей. Два поля земли было у нас, одно превышало другое на 20 гар, об этом свидетельствует младший писец, бравший с нас налог, остальное он забыл. Прошлой ночью разлив реки смыл межевые камни и уничтожил границу между полями. Сосчитай же скорей, каковы наши поля, ведь общая их площадь известна – 60 гар».

Выслушав людей, писец стал размышлять. Таких задач он никогда не решал. Он умел измерять поля, вычислять площади полей, если даны их элементы (ширина, длина, линия раздела), умел делить поля на части, соединять несколько полей между собой и даже узнавать сторону квадратного поля, если была известна его площадь. Он имел дело с тысячами таких задач, обучал в школе их решению и так хорошо знал свое дело, что перед его глазами как живые стоят глиняные таблички с решениями задач, чертежами полей и числами, проставленными на этих чертежах. Такие таблички он, старший писец и учитель, составляет каждое утро и дает переписывать своим ученикам. Но среди табличек нет такой, которая бы помогла ему сейчас. Писец хотел было уже отослать людей, как вдруг вспомнил о задачах, которые он задал на табличках в прошлую неделю. Эти задачи были похожи на то, о чем ему говорили пришедшие люди. Перед глазами писца возникли чертежи с числами и решения.

Первая задача. Поле в 60 гар (как раз такое по величине, которое возникло после разлива) разделили пополам. Узнай каждое поле.

Решение. $60:2=30$

Вторая задача. Поле 30 гар и другое 30 гар. От первого поля отрезали участок, равный 5 гар, и прибавили его к другому полю. Узнай получившиеся поля.

Решение. $30-5=25$ $30+5=35$

Третья задача. Два поля 35 гар и 25 гар. На сколько одно поле выступает над другим.

Решение. $35-25=10$

Четвертая задача. Два поля 35 гар и 25 гар соединили. Узнай получившееся поле.

Решение. $35+25=60$

Писец вспомнил, что, решая сам эти задачи, он удивился, почему разница между полями – 10 гар – оказалась в два раза больше величины отрезанного от одного поля участка. И только посмотрев на чертеж, он понял, что эта разница суть удвоенный участок (от одного поля он отрезан, это 5 гар, а к другому прирезан, еще 5 гар, вместе же как раз 10 гар). Как похожи эти задачи на то, что произошло у людей, стоявших перед ним. Правда, разница между полями не 10 гар, а 20, но ведь это неважно, все равно эта разница в два раза больше величины добавленного участка. И тут писца осенило. Мысленно воздал он почести великой лунной богине Иштар, подавшей ему знак, что делать: нужно разделить 60 гар пополам (как в той задаче, где поля были равные), а затем отнять от одного полученного при делении поля участок, равный половине 20 гар, и прирезать его к другому полю. И писец стал записывать решение первой в истории Вавилона задачи нового типа, не прибегая ни к алгебре, ни к геометрии, ни к методу ложного предположения.

Безусловно, эта история выдумана с начала до конца, и, конечно, это очередная реконструкция, но обратите внимание на ее достоинства. Я не ссылался на возможности современной математики и все, что предположил, можно документально подтвердить и обосновать. Все перечисленные мной задачи действительно решались на определенном этапе развития вавилонской математики, решались тысячами, тиражировались тысячами тысяч в школах писцов, причем в самых разнообразных последовательностях и сочетаниях. Среди таких последовательно решенных (как правило, в учебных целях) задач при огромном потоке решений вполне могли встречаться и такие подборки задач, которые обеспечивали построение решений новых задач. Чертежи с числами и алгоритмы решения учебных задач (случайно, а в дальнейшем специально подобранные) облегчали отождествление уже решенных задач с условиями новых. В работе (61) я показал, что подобным же способом были построены таблицы пифагорейских троек (чисел 3, 4, 5; 5, 12, 13; 8, 15, 17 и т. д., для которых была справедлива теорема Пифагора) и решен ряд других задач.

Предложенная реконструкция заставляет пересмотреть многие представления о характере шумеро-вавилонской математики. Во-первых, получается, что вавилонские математики пользовались вполне естественным (если иметь в виду уровень развития их практики) языком, который образовывали простейшие алгоритмы вычисления полей и поясняющие их чертежи с числами. Во-вторых, никаких уравнений они не знали и тем более не знали способов их преобразования. В-третьих, создавая решения задач, вавилонские математики не проводили логических умозаключений; все, что от них требовалось в плане мышления, – сравнить между собой условие новой задачи с решениями специально или случайно подобранных задач. Конечно, это сравнение не было простым, оно включало в себя, с одной стороны, сравнение чертежей полей, с другой – сравнение чисел, фиксирующих размеры полей или их элементов. Кроме того, необходимо было путем вычислений связывать те или иные элементы полей или величины их площадей (например, деля одну величину на другую, выяснять, что одно поле в два раза больше другого). Однако все эти мыслительные действия ничего общего не имеют как с геометрическими или алгебраическими преобразованиями уравнений, так и с логическими умозаключениями.

В данном параграфе фигурирует выражение «семиотическое производство». Что здесь имеется в виду? В своих работах я обращал внимание на то, что атрибутивные и эмпирические знания, получавшиеся в древнем семиотическом производстве, фиксирующие характеристики определенных объектов (полей, хозяйственных сооружений, траекторий движения звезд и планет по небу и т. п.), а также связи между ними, заданные операциями со знаками (числами или величинами), проверялись на соответствие действительности только на основе практики, носившей сугубо хозяйственный или сакральный характер. Другими словами, закреплялись только те знаки и знания, которые отвечали хозяйственной или сакральной практике, обеспечивая решение возникавших в ней задач (например, позволяя подсчитывать и суммировать

большие совокупности, восстанавливать поля той же площади, определять время появления первых звезд, планет и затмений; к небесным явлениям, т. е. богам, как правило, приурочивались хозяйственные работы, вообще встречи с богами для совместной деятельности). Другой важной особенностью является безличный и сакральный характер знаний: они понимались как мудрость, считались принадлежащими богам, которые лишь поделились с жрецами этими знаниями.

Добавление. И все-таки, как я показываю, связи между вавилонской математикой и геометрией (алгеброй), безусловно, существуют. Дело в том, что греческая геометрия и элементы диофантовой алгебры возникли не на пустом месте, а в ходе реконструкции греческими математиками вавилонских (и возможно, древнеегипетских) задач и способов их решения. Да, именно реконструкция решений вавилонских задач – один из путей, ведущих к построению как геометрии, так и алгебры.

С семиотической точки зрения проблемой является не объяснение операций с числами и чертежами – они вполне укладываются в схемы действий со знаками-моделями и знаками-символами, – а сравнение и отождествление чертежей полей с числами между собой. Дело в том, что эти операции предполагают видение чертежа с числами $C-M-C^*$ (здесь M – чертеж поля, C – числа, а черточки – связи чисел с соответствующими элементами чертежа), не только как выражающего определенное содержание (в данном случае, поле X определенной величины), и не просто, как объекта оперирования, но и как *самостоятельного предмета* – «плана» поля. Именно на плане поля древний писец различает форму поля, его элементы – стороны, площадь, а также величины этих элементов, заданные числами. Сравнение и совмещение планов полей и является необходимым условием формирования рассмотренных здесь способов решения задач. Однако в рамках деятельностного подхода, которого я придерживался в 60-х годах, семиотически истолковать природу планов полей, впрочем, так же как и других самостоятельных предметов, мне не удавалось.

Объекты, подобные планам полей, У. Эко классифицирует как иконические знаки. Анализ природы таких знаков приводит его к мысли, что иконические знаки подобны не объектам, которые такие знаки представляют, а «структурам восприятия» этих объектов; другой вывод – что иконические знаки связаны со «слабыми кодами», т. е. вариативными и субъективно обусловленными системами значений. «*Иконическая синтагма*, – пишет он, – *зависит от столь сложных контекстуальных отношений, что в ней трудно отделить смыслоразличительные признаки от факультативных вариантов*... мы сталкиваемся с *вереницей идеолектов* (идеолектом Эко называет семиотическую модель произведения искусства. – В. Р.), одни более общепринятые, другие очень редки; в них факультативные варианты безусловно доминируют над смыслоразличителями, в которых они обретают статус смыслоразличительных признаков, а последние превращаются в факультативные варианты в зависимости от того, какой код избирает рисовальщик, не стесняющийся разрушать прежний код и на его обломках выстраивать новый. В этом смысле иконические коды, если они вправду есть, являются слабыми кодами» (100, с. 137, 138). Характерна фраза – «если они вправду есть», поскольку код, характеризующий иконический знак, приобретает в описании Эко столь странные свойства, что это уже как бы и не код. Код все-таки – это система определенных *константных* значений, а слабый код задает меняющиеся ансамбли непрерывно изменяющихся значений. Впрочем, возникает еще одно сомнение. Эко при анализе иконического знака использует материал современного искусства, но не авангардного. Если бы он взял другой материал, например, художественное искусство древних народов (египтян, вавилонян, индусов, китайцев, народов майя и др.) или же реалистическую живопись XVII–XVIII вв., то в этом случае ему пришлось бы признать за иконическими знаками искусства как раз сильные коды, поскольку это искус-

ство создавалось и прочитывалось на основе *константной* системы значений (смотри наше исследование (см.: 68)).

В моих собственных исследованиях объектов типа планов полей (сюда же позднее я отнес и произведения искусств) наметился прогресс, когда я стал рассматривать их с совершенно другой стороны, а именно с точки зрения анализа психических реальностей, где на данные объекты удалось посмотреть как на «событийные реальности» («универсумы событий»). Этот цикл исследований я рассмотрю в следующей главе, а в этой остановлюсь на еще одной семиотической реконструкции – происхождения наскальной живописи.

§ 4. Семиотический анализ происхождения наскальной живописи

Знаки выделения

Наскальные изображения датируются начиная с 40–20 тыс. лет до н. э. К самым первым наскальным и пещерным изображениям относятся профильные изображения животных (на которых охотились архаические народы), выполненные, что важно, примерно в натуральную величину. Позднее появляются изображения людей, тоже в натуральную величину. Советский искусствовед А. Столяр считает самой ранней изобразительную модель тех предельно лаконичных рисунков зверя, которые наука уже в начале нашего века отнесла к числу древнейших. «Это изолированный и предельно обобщенный, строго профильный контур стоящего зверя» (77, с. 40). Как правило, эти изображения и рисунки представляют высеченный каменным орудием или нанесенный охрой контур, который совершенно не заполнен внутри. Первая странность – животные изображались только в профиль, люди чаще фронтально, причем профильное изображение животных устойчиво воспроизводится много тысяч лет во всех странах Древнего мира. Другая странность – пропорции фигур часто увеличены, кажется, что люди одеты в скафандры (это послужило поводом назвать их «марсианами»).

Позднее изображения людей и животных увеличиваются и уменьшаются, а контуры фигур заполняются (прорисовываются глаза, ноздри животных, окраска шкур, у людей – одежда, татуировка и т. д.). Наряду с миниатюрными в этот период встречаются и довольно внушительные изображения. Например, в Джаббарене (Сахара) найдено шестиметровое изображение человека (названного «Великий марсианский бог»). Оно занимает всю стену «большого убежища»: стена сильно вогнута, голова нарисована на потолке.

Если художник стремился передать предмет, рассматриваемый с разных сторон или в разные моменты времени (с определенного этапа развития этот подход к предмету становится доминирующим), то изображение предмета (его общий вид) составляется, суммируется из изображений отдельных «проекций», полученных при рассмотрении предмета с разных точек зрения (разных сторон). Например, в искусстве Древнего Египта можно встретить изображение четырехугольного пруда, обнесенного деревьями, вершины деревьев изображены обращенными на все четыре стороны. Специально исследованное С. Рейнаком распластанное изображение скачущего коня «представляет собой результат суммирования во времени двух разных поз, которые не могут быть фиксированы одновременно в реальном движении» (60).

Когда предмет рассматривался снаружи и изнутри, то его изображение составлялось из двух видов – наружного и внутреннего (так называемый «рентгеновский стиль»). Например, при изображении парусника обшивка раздвигается и дается «план внутреннего устройства судна». Когда аборигены Грут-Айленда рисуют ульи диких пчел, они, с европейской точки зрения, дают их план в разрезе. Тут же изображены пчелы, влетающие и вылетающие из улья, молодняк, выводящийся в другом отсеке, мед, расположенный в самом низу улья (см.: 37). Попробую теперь в рамках культурологии объяснить, как архаический человек мог научиться рисовать.

Эсхилл рассказывает в своей трагедии «Прикованный Прометей», что могучий титан дал людям огонь, научил их ремеслам, чтению и письму и, очевидно, живописи. Но сомнительно, чтобы кто-нибудь на самом деле учил архаических людей рисовать. Скорее, они научились сами. Как? Представим, что у меня есть машина времени и я могу вернуться на два-три десятка тысячелетий назад, чтобы наблюдать за архаическим человеком. Проведя в такой «экспеди-

ции» какое-то время, я излагаю здесь свои наблюдения и размышления (в скобках для сравнения привожу некоторые данные современных исследований).

Перемещаясь во времени, можно достичь эпох, где архаический человек еще не умеет рисовать; зато он оставляет на глине или краской на стенах пещер отпечатки ладоней и ступней ног и проводит на скалах короткие или длинные линии (современные исследователи не без юмора называли их «макаронами»). Хотя архаический человек еще не умеет рисовать и не знает, что это такое, он уже достаточно развит, пытается по-своему понять жизнь. Особенно его занимает осмысление природных явлений и событий, происходящих с ним самим. Так, например, он очень боится затмений солнца и луны, и поэтому по-своему их объясняет – в это время на луну (солнце) нападает огромный зверь. (Солнечное затмение на языке народа тупи буквально означает: «Ягуар съел солнце». И до сих пор, пишет Э. Тейлор, некоторые племена, следуя этому значению, стреляют горящими стрелами, чтобы отогнать свирепого зверя от его добычи (см.: 79, с. 228).) Человека волнуют сновидения, болезни, потеря сознания и очень волнует смерть близких, других людей и животных. Пытаясь понять, что при этом происходит, архаический человек пришел к представлению о душе. Интересно, что архаические люди, по-видимому, не разделяли китайской стеной обычный мир, населенный людьми, животными и вещами, и мир, где живут души. Они уверены, что души живут среди людей, рядом с ними, что их можно умиловать, о чем-то попросить, даже заставить что-то сделать себе на пользу.

Возвратившись чуть ближе к нашему времени, я неоднократно наблюдал следующие сцены, живо меня заинтересовавшие. После удачной охоты архаические люди ставили к стене скалы или пещеры, основательно привязав, какое-нибудь животное – северного оленя, бизона, антилопу, а иногда, после стычки с другими племенами, даже пленного. Животное ставилось, естественно, боком, а человек – фронтально. Затем в эту мишень взрослые и подростки начинали метать копья или стрелять из луков; одни состязались, другие учились лучше пользоваться своим оружием. И вот что важно: наконечники копий и стрел оставляли на поверхности скалы вблизи границы тела отметки, следы выбоин. Чаще всего исходную мишень через некоторое время убрали – животное съедали, пленного убивали, – но вместо нее ставили муляж: шкуру животного, надетую на палки или большой ком глины. Однако вскоре и эта модель разрушалась или использовалась в хозяйственных целях. Самое любопытное – в этой ситуации некоторые племена вместо разрушенной мишени начинают использовать следы, оставленные на стене ударами копий и стрел. Чтобы понять, попала стрела или копье в цель, архаический охотник соединяет эти следы линией, как бы отделяющей тело бывшего в этом месте животного или человека от свободного пространства вокруг него. Иногда для этой цели после очередной удачной охоты использовалось и само животное или пленный, их обводили линией, чаще всего охрой, или высекали такую обводную линию каменным орудием. Я увидел, что на поверхности стены в пещере или скалы оставался профильный контур животного или фронтальный – человека. И он действительно не был ничем заполнен внутри, а размеры фигур были немного увеличены: для целей тренировки в меткости обвод делался грубо, обычно к размерам туловища, головы, рук и ног добавлялась рука «рисующего». Тут я, конечно, сообразил, откуда взялись «марсиане», и даже понял, почему у них обычно не были изображены ступни ног, поскольку они повернуты вперед и обвести их невозможно. Но вот вопрос, видели ли архаические охотники в нарисованном контуре животное, и если видели, то почему? Попробую ответить на этот вопрос, прежде чем вернуться к вымышленному путешествию во времени.

Для современного читателя, с детства воспитанного на восприятии реалистической живописи, фото, кино, телевидения, этот вопрос может показаться странным. Но, во-первых, совсем маленькие дети (до года) не видят изображенного предмета, хотя хорошо видят сам

рисунок. Во-вторых, примитивные народы тоже часто не видят изображенного на фотографии или картине. Что же говорить об архаическом человеке, который впервые увидел профильный контур животного: он, вероятно, видит просто линию, ограничивающую это животное. Однако естественно предположить: человек, создавший подобный контур, невольно сравнивает его с самим животным; при этом он обнаруживает, усматривает в последнем новое свойство – профиль. Вся ситуация требовала осмысления: профильный контур (рисунок) похож на животное, в него бросают и стреляют из лука, как будто это само животное. И архаический человек «открывает» в рисунке животное. Происходит метаморфоза сознания и восприятия – в рисунке появляется животное. Каким образом? Психический опыт, сложившийся в результате предыдущих актов восприятия зверя (и знаний о нем) и обеспечивающий его видение, актуализуется, реализуется теперь с опорой на рисунок. Возможность смены опорного визуального материала – характерное свойство человеческого восприятия. В результате профильный рисунок зверя начинает выступать в качестве визуального материала, на котором реализуется теперь представление о звере. В этом процессе (поистине удивительном), с одной стороны, профильный рисунок зверя становится его *изображением и знаком* (как изображение рисунок визуально сходен с предметом, как знак обозначает этот предмет), с другой – для человека появляется *новый предмет* (существо) – *изображенное животное* (в архаическом сознании оно осознается как душа животного, поселившаяся в рисунке). Однако для архаического человека изображенный предмет отличается от реального предмета: с животным-изображением можно делать то, что можно делать со знаками, но воспринимает (видит и переживает) их человек не только как знаки (изображения), но и как самостоятельные предметы (назовем их «знаковыми» или «предметами второго поколения»). Освоение предметов второго поколения, осознание «логики» их жизни, их отличий от других предметных областей в психологическом плане сопровождается формированием новой предметной области. В ней осознаются и закрепляются для психики как события жизни предметов второго поколения, так и различные отношения между ними. По сути, когда Л. С. Выготский писал, что в игре ребенок оперирует смыслами и значениями, «оторванными от вещей, но неотрывными от реального действия с реальными предметами» (за палочкой видит лошадь, за словом – вещь), он говорил о предметах второго поколения (18, с.293). Интересно, что представление о душе позволило, с одной стороны, связать нарисованное животное с реальным животным, с другой – развести их. В дальнейшем эта связь обеспечивала перенос свойств с реального предмета (животного) на новый (идеальный) предмет, т. е. на нарисованное животное, а также помогала элиминировать другие свойства, не отвечающие возможностям самого знака-изображения (так, например, нарисованное животное нельзя съесть, с него нельзя снять шкуру и т. д.). Каков же окончательный итог? Сложился новый вид предметов – нарисованные животные и люди, осознаваемые как души. Рассмотрим подробнее, что архаический человек понимал под душой и какое значение они имели в его жизни.

Если иметь в виду культурное сознание человека, то главным для архаического человека являлось убеждение, что все люди, животные, растения имеют душу. Представление о душе у примитивных обществ (а они до сих пор находятся на стадии развития, соответствующей архаической культуре) примерно следующее. Душа – это тонкий, невещественный человеческий образ, по своей природе нечто вроде пара, воздуха или тени. Некоторые племена, отмечает классик культурологии Э. Тейлор, «наделяют душой все существующее, даже рис имеет у даяков свою душу». В соответствии с архаическими представлениями, душа – это легкое, подвижное, неуничтожимое, неумирающее существо (самое главное в человеке, животном, растении), которое обитает в собственном жилище (теле), но может и менять свой дом, переходя из одного места в другое (79, с.266–290). Как же сложилось подобное представление? Естественно, что никаких научных представлений у архаического человека не было, они возникли много тысячелетий спустя. Даже простейшие с современной точки зрения явления

представляли для древних проблему, они могли разрешать ее только на основе тех средств и представлений, которые им были доступны.

Рассмотрим одну из проблем, разрешения которой потребовало представление о душе. Архаический человек постоянно сталкивался с явлениями смерти, сновидений, обморока. Что они означали для всего коллектива, как в этих случаях нужно было действовать и поступать? Вопросы эти для коллектива были несомненно жизненно актуальными. Внешне сон, обморок и смерть похожи друг на друга, но, как мы сегодня понимаем, действия людей в каждом случае должны быть различны.

Этнографические и культурологические исследования показывают, что эта ситуация была разрешена, когда сформировалось представление о «душе», которая может существовать в теле человека как в материальной оболочке, выходить из тела и снова входить в него. В свете этих представлений смерть – это ситуация, когда душа навсегда покидает собственное тело, уходит из него, обморок – временный выход души из тела (затем, когда душа возвращается, человек приходит в себя), сновидения – появление в теле человека чужой души. Важно, что подобные представления подсказывают, что нужно делать в каждом случае: мертвого будить или лечить бесполезно, зато душу умершего можно провожать в другую жизнь (хоронить человека), в то же время спящего или потерявшего сознание можно будить, чужую душу можно прогнать, а свою привлечь назад, помогая тем самым человеку очнуться от обморока и т. д. Во всех случаях, пишет Э. Тейлор, где мы говорим, что человек был болен и выздоровел, туземцы и древний человек говорят, что он «умер и вернулся». Другое верование у тех же австралийцев объясняет состояние людей, лежащих в летаргии: «Их души отправились к берегам реки смерти, но не были там приняты и вернулись оживить снова их тела. Туземцы Фиджи говорят, что если кто-нибудь умрет или упадет в обморок, его душа может вернуться на зов» (79, с. 270).

Души как легкие, подвижные, неуничтожимые, неумирающие существа, обитающие в материальной оболочке (теле, предмете, рисунке, маске), могущие выходить из нее или входить в новые оболочки, со временем становятся самостоятельными предметами. Так, душу заговаривают, уговаривают, призывают, ей приносят дары и еду (жертву), предоставляют убежище (святилище, могилу, рисунок). Можно предположить, что с определенного момента развития архаического общества (племени, рода) представления о душе становятся ведущими, с их помощью осознаются и осмысляются все прочие явления и переживания, наблюдаемые архаическим человеком. Например, часто наблюдаемое внешнее сходство детей и их родителей, зависимость одних поколений от других, наличие в племени тесных родственных связей, соблюдение всеми членами коллектива одинаковых правил и табу осознается как происхождение всех душ племени от одной исходной души (человека или животного) родоначальника племени, культурного героя, тотема. Поскольку души неуничтожимы, постоянно поддерживается их родственная связь с исходной душой и все души оказываются в тесном родстве друг с другом.

Однако ряд наблюдаемых явлений ставил перед архаическим сознанием довольно сложные задачи. Что такое, например, рождение человека; откуда в теле матери появляется новая душа – ребенка? Или: почему тяжело раненное животное или человек умирают, что заставляет их душу покинуть тело раньше срока? Очевидно, не сразу архаический человек нашел ответы на эти вопросы, но ответ, нужно признать, был оригинальным. Откуда к беременной женщине, «рассуждал» архаический человек, приходит новая душа? От предка – родоначальника племени. Каким образом он посылает ее? «Выстреливает» через отца ребенка; в этом смысле брачные отношения – не что иное, как охота: отец – охотник, мать – дичь; именно в результате брачных отношений (охоты) новая душа из дома предка переходит в тело матери. Аналогичное убеждение: после смерти животного или человека душа возвращается к роду, предку племени. Кто ее туда перегоняет? Охотник. Где она появится снова? В теле младенца, детеныша животного. На барельефе саркофага, найденного в Югославии, изображены: древо

жизни, на ветвях которого, очевидно, изображены кружочками души, рядом стрелок, прицеливающийся из лука в женщину с ребенком на руках (судя по нашей интерпретации, это – отец ребенка), слева от этой сцены нарисован охотник на лошади, поражающий копьем оленя.

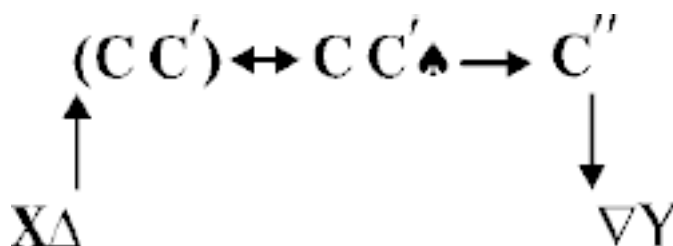
Вернемся теперь к нашему воображаемому путешествию.

Оказавшись еще чуть ближе к нашему времени, я увидел, что архаические люди хорошо освоили технику обвода животных и людей и даже стали обводить их тени, падающие на поверхности. («Какова была первая картина, – спрашивает Леонардо да Винчи в «Книге о живописи» и отвечает, – первая картина состояла из одной-единственной линии, которая окружала тень человека, отброшенную солнцем на стену» (38, с. 118).) Иногда тень была меньше оригинала, иногда больше; в первом случае изображение получалось уменьшенным, во втором – увеличенным. В одном племени я увидел, как древний «художник» обводил в убежище тень человека от костра, которая начиналась на стене и заканчивалась на потолке (вот, оказывается, как был нарисован «великий марсианский бог»). В другой раз я увидел, как художник делал обвод людей и животных просто «на глазок», не прислоняя их специально к стене. Я наблюдал, что по мере овладения способом обвода такие случаи стали практиковаться все чаще и чаще, пока полностью не вытеснили технику непосредственного обвода.

Глаз, очевидно, привык снимать профильные и фронтальные формы животных и людей и поэтому мог руководить рукой художника; новая способность глаза заменила вещественную модель. У меня уже не было сомнений, что в этот период контуры животных и людей превратились для древнего человека в изображения, точнее, даже не в изображения, как их понимает современный человек, а скорее в «живые» воплощения этих животных и людей. Древние охотники практически перестали пользоваться изображениями животных и людей для тренировки, зато обращались к ним, как к живым существам. Я часто наблюдал, как вокруг подобных изображений плясали, обращались к ним с просьбой и даже, рассердившись, били изображения и уничтожали. В последнем случае изображения замазывали краской. Присмотревшись, я понял: древние люди считают, что в нарисованные ими изображения поселяются души изображенных людей и животных, и, если они там поселились, изображения стали живыми, поэтому на них можно влиять. Переживая, видя изображения как живые существа, древние художники старались теперь нарисовать у них все, что им принадлежало по праву: и глаза, и цвет шкуры, и одежду людей, и внутренние органы («рентгеновский стиль»).

Конечно, это воображаемое путешествие представляет собой историческую реконструкцию первых этапов формирования древней живописи. Однако я при этом не ссылался на мистических учителей рисования и не считал архаических людей умнее современных. Архаическое искусство, как мы видим, существенно отличается от современного. Оно не странное, а иное. Наскальное изображение животного или человека – не произведение изящного искусства и вообще не произведение, это живое существо (душа), с которым архаический человек общается, к которому он обращается. Архаическое искусство не выражало прекрасного (хотя его «произведения» в особом смысле прекрасны). Оно сводило человека с душами животных и людей, позволяло влиять на них. Иными словами, архаическое искусство создавало особую действительность, где обычный мир сходил и переплетался с миром сакрального. Этот момент отмечает известный искусствовед Р. Арнхейм, говоря, что искусство первобытного общества возникает не из любопытства и не ради самого «творческого» порыва, а для выполнения жизненно важных задач. Оно вселяет в человека небывалую силу, позволяет «магически влиять» на отсутствующие вещи и живые создания (8, с.132).

Попробуем теперь на этот же материал взглянуть с семиотической точки зрения. Как в этом плане можно охарактеризовать происхождение наскальной живописи? Первый этап – изобретение обвода:



(схема 11)

Здесь X – реальный предмет (животное или пленник), $\spadesuit$ – операция обвода, M – обвод предмета.

Второй этап – образование самого знака M и изображения:



(схема 12)

M – рисунок в функции знака, П – рисунок в функции изображения (предмета второго поколения), Y – изображенный или обозначенный предмет.

С семиотической точки зрения душа – это сложный тип знака, который можно назвать «**знак выделения**». Изобретение этого знака позволило архаическому человеку осмыслить явления смерти, обморока, сновидений и «появление зверей и людей, созданных с помощью рисунка». И не только осмыслить: что не менее существенно, создать соответствующие практики. Действительно, опишем действия архаического человека с душой как со знаком. Семиотическая формула действия со знаком выделения такова: знак A (душа) включается в ряд операций преобразования – $\spadesuit \spadesuit \spadesuit \spadesuit$ » и т. д. (они потенциально задаются строением знака), в результате получаются знаки A A' A'' и т. д. Эти знаки относятся к реальному объекту X (в данном случае – человеку). Подобное отнесение позволяет в объекте X выделить (отсюда название типа знака – знак выделения) определенные атрибутивные свойства $\alpha \alpha' \alpha''$ » и т. д., т. е. в данном случае – свойства и состояния души. Эти свойства позволяют человеку объективировать новый объект Y – душу, находящуюся в человеке (животном, любом предмете). Такие предметы Y тоже являются предметами второго поколения, условно их можно назвать «исходными», тогда душа, вышедшая из тела, – это «вторичный предмет». Необходимое общее условие действий со знаками выделения – предварительное формирование связи-значения, т. е. замещение объектов знаками. Характерная особенность знака-выделения в том, что здесь объект X и объект Y по материалу не совпадают, как это происходит в других типах знака. Например, знаки-модели относятся к объектам X, которые по материалу (но не по функции и природе) совпадают с объектом Y. Так, пальцы (камешки, ракушки, зарубки, черточки), с помощью которых считали древние народы, являются знаками-моделями. Они относятся как к реальным предметам (объектам X), которые считают, так и к соответствующим «совокупностям предметов» (отсчитываемым объектам Y). Ясно, что по материалу – это один и тот же объект, но по функции – различные объекты. Объекты Y можно только считать, отсчитывать, соединять в группы или разделять на группы, с объектами X можно делать и все то, что с ними обычно делают в той или иной практике.

Но вернемся к анализу формирования действий с таким знаком, как душа. Первая операция, дающая свойство α – «уход» навсегда души из тела; при отнесении к объекту X (чело-

веку, животному) эта операция осмысляется как смерть. Здесь мы видим, что известный человеку с давних пор эмпирический факт смерти (т. е. объект X) не совпадает с формирующимся представлением о смерти Y. На основе такого осмысления формируется и соответствующая архаическая практика захоронения, понимаемая древним человеком как создание (постройка) для души нового дома. В этот дом (могилу), что известно из археологических раскопок, человек клал все, что нужно было душе для продолжения на новом месте полноценной жизни – еду, оружие, утварь, одежду и т. д. (позднее богатые люди могли позволить себе унести с собой в тот мир лошадей, рабов, даже любимую жену).

Вторая операция (свойство α') – «временный уход души из тела», что осмыслялось в представлении о болезни. На основе этой операции осмысления складывается архаическая практика врачевания (лечения), представляющая собой различные приемы воздействия на душу: уговоры души, преподнесение ей подарков – жертвы, создание условий, которые она любит, – тепло, холод, влажность, действие трав и т. д. с целью заставить ее вернуться в тело (возвращение души в тело, осмысленное как «выздоровление», – это фактически обратная операция со знаком по сравнению с прямой – временным уходом души). Древнее врачевание предполагало как отслеживание и запоминание природных эффектов, так и комбинирование ряда практических действий, приводящих к таким эффектам. Другими словами, формировалась настоящая техника врачевания. Но, естественно, понималась она в рамках анимистического мироощущения.

Третья операция (свойство α) – приход в тело человека во время сна другой души (или путешествие собственной души вне тела в период сна), – определила такое представление, как сновидение. Соответственно, обратная операция задала смысл пробуждения, выхода из сновидения. На основе этого формируется практика толкования сновидений, понимаемая – как свидетельство души.

Четвертая операция, точнее две группы операций, имеющих исключительно важное значение для архаической культуры, – это, во-первых, вызов души, предъявление ее зрению или слуху, во-вторых, обращение к душе, общение с ней, что достигалось, как отмечалось, с помощью средств древнего искусства (рисование, пение, игра на инструментах, изготовление масок и скульптурных фигур и т. д.) В рамках этой практики формируются как специальная техника (например, изготовление музыкальных инструментов и масок, орудий и материалов для живописи и скульптуры), так и сложные технологии древнего искусства (рисование, танец, изготовление скульптур и т. д.). В архаической культуре человек открыл и научился использовать в своей деятельности различные природные эффекты, создав тем самым первую технику (орудия труда, оружие, одежда, дом, печь и т. д.). В области технологии самым заметным достижением было освоение двух основных процедур: соединение в одной деятельности разных операций, относящихся до этого к другим деятельности, и схватывание (осознание) самой «логики» деятельности, т. е. уяснение и запоминание типов и последовательностей операций, составляющих определенную деятельность. Последняя задача, как показывают этнографические исследования, также решалась на семиотической основе. Архаический человек создавал тексты (песни, рассказы), в которых описывалась деятельность, приводящая к нужному результату. В этих текстах, помимо описания операций и их последовательности, значительное место отводилось рассказу о том, как нужно влиять на души, чтобы они помогали человеку. Сегодня мы эти фрагменты текста относим к древней магии, хотя магия – не то слово, которое здесь необходимо использовать. В представлении о магии есть оттенок тайны и сверхъестественных сил. Для архаического же человека души (духи), вероятно, не заключали в себе ничего таинственного и сверхъестественного. Таким образом, основными способами трансляции технического опыта в архаической культуре являлись устная традиция, запоминание, ну и, конечно, подражание. Наконец, техническая деятельность человека осознавалась не в рациональных формах

сознания, а в анимистической модальности. Главной особенностью анимистического понимания техники являлась трактовка естественного плана как деятельности души.

Анализ показывает, что в архаической культуре все основные виды представлений и практик возникают в рамках той же логики, причем, представление о душе является исходным. Даже такая, вроде бы, прямо не связанная с феноменами смерти, сновидений, болезни или искусства практика, как любовное поведение, как я показал в работе (71), выросла не без влияния представления о душе. Для культурологии материал архаической культуры позволяет сделать следующий важный вывод: главным механизмом формирования культуры является «семиозис», т. е. изобретение знаков и действия с ними. Знаки создаются в ответ на потребности человека, с их помощью человеческое сообщество разрешает возникшие перед ним проблемы, снимает «разрывы» в деятельности и понимании. При этом образование новых знаков подчиняется такому закону: или на основе одних знаков выделения складываются другие, более сложные, или один тип знаков выделения является исходным для всех остальных. Второй вывод: именно семиозис в значительной степени предопределяет формирование в культуре практик человека. Третий вывод: новый культурный опыт не изобретается каждый раз заново, а складывается на основе уже имеющегося. И четвертый: необходимым условием формирования культуры является трансляция культурного опыта, позволяющая воспроизводить эффективные виды человеческой деятельности. Но сама эффективность в культуре оценивается по двум параметрам: с точки зрения основной картины мира (в данном примере целиком основанной на идее души), а также с точки зрения практической пользы (например, с точки зрения того, в какой степени лечение реально помогает человеку; правда, нередко человек выздоравливает именно потому, что верит в лечение).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.